

Марк Харитонов

ПРОЕКТ
«ОДИНОЧЕСТВО»



ImWerdenVerlag
München 2012

© Марк Харитонов, 2002

© imwerden.de — некоммерческое электронное издание.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Пожилой человек в старомодном сером плаще направлялся ко мне, делая знак: постой. Я замедлил шаг, соображая: знакомый, что ли? Не мог вспомнить. Попросить хочет о чем-то. Движение руки с палкой опережало еще не произнесенные слова.

– Слушай, – сказал он, преодолевая одышку, – посиди со мной. – Показал на столик уличного кафе. – У меня сегодня такой день, мне семьдесят пять лет. Пятьдесят лет отслужил в армии... вот...

Отвернул край плаща, показал ромбик военной академии на пиджаке. Редкие седые волосы, нижнего зуба нет. Пальцы – раздутые белые личинки.

– Тут дают только пиво, – заметил он мое колебание, – но я сейчас куплю водку, в палатке, вот она, рядом. Закуску я уже заказал. Подожди меня, я быстро. Не могу же я сидеть со всякой пьянью. Вижу: идет человек, культурный, задумчивый, можно посидеть...

Упоминание о водке заставило меня покачать головой, основания подоспели уже вдогонку. Была половина третьего, я вышел из дома прогуляться после обеда, возвращался, чтобы работать. Погода стояла ветреная, прохладная, временами начинало моросить. Под желто-зеленым тентом кафе сидели двое потертых хмырей в кожанках (кожанки, впрочем, тоже были потертые), перед каждым бутылка пива, стаканов они

брать не стали. Кислая лужица на асфальте казалась пролитой из бутылки. Посидеть немного за пивом я уже почти был готов согласиться. По-человечески надо было уважить старика, и примешивалась всегдашняя литераторская корыстность (мысль старьевщика: авось найдется что прихватить для своих нужд?). Но пить среди рабочего дня водку, да еще, глядишь, поддельную, купленную по дешевке? Отказаться будет нельзя, а пьяные речи военного отставника заранее можно представить...

– Нет, – повторил я смущенно, но твердо. – Мне надо работать.

Он посмотрел на меня еще раз выжидательно, потом вяло махнул рукой и отошел в сторону. Одна пуговица на его плаще обвисла, надо бы сказать, чтобы не потерял. Но разве теперь выговоришь?

2

И холодно в такую погоду сидеть, продолжал я вспоминать доводы – словно было надо оправдываться перед самим собой. Эта поникшая стариковская спина, этот взгляд выцветших глаз... Не сообразил хотя бы с юбилеем поздравить. Запоздалая, неточная умственная реакция. Даже если у него дома кто есть, с ними по-настоящему не поговоришь. С ними слишком все давно переговорено. Попробуй кто записать на пленке сказанное со своими за день. «Опять отключили горячую воду». «Сходил бы за хлебом». «Где мое лекарство?» Издательский эксперимент, лучше не надо. Только и соблазнишь даровой водкой прохожего шаромыжника. Пить в одиночку – последнее дело. С кем-то мы недавно говорили на эту тему... не вспомнить...

Я сидел за столом, тупо уставясь в исчерканные листы. Надо было все-таки подтвердить, что я не лукавил перед стариком, действительно собирался работать. Не удавалось подключиться, вернуться в уже написанное. Герой (еще не вполне проясненный) озирается растерянно. Вокруг топчутся, вскри-

кивают, вскидывают руки, трясут волосами потные молодые люди. Мечутся, дергаются перед глазами цветные огни, уши забивает грохотом, где-то вдалеке, на помосте – едва различимые фигурки тех, ради кого сюда набилось столько народу. Как описать эту неспособность слиться со всеми, ощутить то же, что другие, попасть в ритм, хотя бы разобрать слова и музыку, размазанные в громыхание? А бедняга уже ловит на себе затуманенные, опасные взгляды: зачем тут появился чужак, обособленный от общего состояния? Не соглядатай ли?.. Мне представился инопланетянин, очутившийся в другой, чужеродной цивилизации, не понимающий нужных кодов...

Тоже разновидность одиночества, подумал вдруг я. Именно среди множества таких же на вид, как ты...

И тут-то вспомнил, с кем недавно было упомянуто про выпивку в одиночку.

3

Занесло зачем-то на необязательную тусовку – знал же, что нечего мне там делать. Людей, которых надеялся встретить, не оказалось. Стоят, как водится, кучками, общаются, со-суд с напитком в одной руке, бумажная тарелка с закуской мелочью в другой. С кем-то поздороваяешься, перемолвишься попутно. Всегдашнее чувство, что глупеешь и глохнешь в такой обстановке больше обычного. Струнный квартет, обещанный в пригласительном билете, играл прямо в холле – фон общего шума или один из шумов. Некоторое время я попробовал постоять, отгородившись от остального спиной. Так оставались в подземном переходе перед играющими музыкантами. Раз уж бросил в футляр монету, попользуйся своей порцией. И им будет не так оскорбительно равнодушие топающих мимо. Хотя посмотреть – играют, ни на что не обращая внимания, на тебя в том числе. Как будто им достаточно слышать себя, как будто они себя слышат. Как будто Моцарта не затрагивает звучащее вокруг, обтекает стороной... Увы, дальше моих барабанных перепонок музыка не проникала. Звуки,

проливающиеся бесплодно. Красное вино, которым наугад соблазнился, прокисало тут же на языке. А ты чего-то еще хотел – на халяву?

Надо было, наконец, сматываться, только поставить куда-нибудь недопитый бокал. Полузнакомый человек, мимо которого пришлось пройти, приветственно поднял мне навстречу свою рюмку. Рано облысевший череп отражал сияние ламп, улыбка была приглашающей, выжидательной. Нельзя было не задержаться в ответ. Еще один, стоявший с ним рядом, в непротокольном ношеном свитерке и вельветовых брюках, был мне совсем не знаком, но чокнулся заодно тоже. Я поднес свой бокал к губам.

– Не пойму, что за вино, – сказал, чтобы хоть что-то сказать. – Этикетка была грузинская.

– О! – весело удивился лысый моей наивности. – Все грузинские вина разливаются под Москвой, в Подольске, из одной цистерны. Этикетку можно украсть. Это же как завлекательная обложка для книги. Обсуждай потом право на заголовок...

Критик В. Н., я запоздало вспомнил его имя (а теперь и поминать не хочу). В тот вечер я еще не знал, какую он написал обо мне пакость, почему смотрел так проверяюще, выжидательно: успел ли я уже прочесть? И развлекался, убедившись в моем неведении. Долго наслаждаться ситуацией он, однако, не стал, понадобилось сразу отойти к кому-то еще. Я упустил момент удалиться тут же, задержался без надобности рядом с другим, в свитере.

– Беседуем, да? – вдруг заговорил со мной тот. – Давайте скорей сделаем на лице выражение, – продолжил он шепотом заговорщика. – Хоть какое-нибудь. На нас направлен взгляд миллионов... Нет, не оборачивайтесь, – предупредил он мое движение и снова приподнял рюмку, одновременно приподнимая бровями морщины на лбу. Grimаса должна была изображать многозначительность.

Тут только я заметил, что он успел изрядно наклюкаться. Телекамера на плече оператора медленно поворачивалась, миновала нас.

– Представляете, как эффектно мы будем выглядеть на экране? – Незнакомец отпил из рюмки еще. – Среди всех остальных. Посмотришь вот так, взглядом объектива – постороннему станет завидно. Какие проблемы обсуждают так заинтересованно эти творческие умы? Услышать бы хоть краем уха, а? Ведь собралась, как теперь говорят, элита. Про нас с вами умолчу из деликатности. Но у других-то – обведите взглядом панораму, сплошь знаменитости – разговоры наверняка содержательней, как вы думаете?

– Беседуем, да? – попробовал я ответить ему в тон. Увы, у меня в бокале была всего лишь красная кислятина, у него явно водка.

– Для общения больше и не надо, – согласился он не со мной – сам с собой. – Почесать, даже если не зудит – тоже потребность. Не все же воздерживаться. Вот спросите после таких слов меня: сам-то сюда для чего приперся? Отвечаю после раздумья: чтобы не пить в одиночку. Наговоришься за рабочий день с интересным собеседником – потом еще с самим собой и чокайся? Это уже последнее дело, правильно?

Он снова протянул в мою сторону рюмку.

– Как утверждал один знакомый философ, – попробовал я попасть в тон, чокаясь, – люди для того и общаются, чтобы отвлечься от самих себя. Чтобы не думать о действительно своем.

– Это что еще за философ? – вскинул он брови.

– Был такой.., – я замялся, чувствуя, что меня без надобности занесло. Не удержался, как идиот, от серьезности. Еще не хватало и знакомством похвастаться.

Недовкость была в том, что я не знал даже имени человека, с которым нечаянно разговорился. Тоже, значит, писатель. Он был, похоже, моего возраста, хотя по виду утверждать было трудно. Сухощавый, почти седые волосы стрижены коротко, но в лице было что-то мальчишеское, не постаревшее. Острый подбородок, небольшой, вытянутый вперед носик делали его похожим на ежа, что ли. Во всей повадке было что-то колючее, отстраняющее. Хотя сам ведь со мной заговорил, я ему не навязывался. И опять же, подвыпил.

– Сколько народу толчется на одном пяточке, – с усмешкой качнул он головой. – И каждый думает, что впервые нашел слова. Другим, конечно, ничего подобного на ум не приходило. А ведь только начни копаться – уже, оказывается, было сказано, иной раз слово в слово. У меня подобралась целая коллекция на эту тему.

– Ну, так звучит в моем пересказе, – надо было в самом деле поправиться. – Я, может, не совсем точно воспроизвожу. Философы изъясняются иногда слишком для меня сложно... А какая это вас тема интересует?

– Сам пока не пойму, – уклончиво ответил он. – Потому и пробуешь по ходу дела подглядеть у других, листаешь разные книжки. Не то чтобы накопление подготовительного материала – но вдруг получишь направляющий пинок в зад?

– Если вам интересно, я могу уточнить цитату.

Сказано это было не без задней мысли: пусть напишет мне сейчас свой телефон, заодно хоть узнаю, наконец, его имя. Он пожал плечами: если вы предлагаете. Ручку попросил у меня, оторвал уголок пригласительного билета. Написанным там оказался лишь номер – считал, видно, что остальное я и так знаю. А он меня, что ли, знал? Спрашивать было поздно.

По пути к выходу я увидел лысого критика и решил все-таки поинтересоваться, с кем сейчас говорил. Тот посмотрел на меня, улыбаясь невнятно – показался вдруг тоже пьяным.

– Он что, вам ничего не сказал?

– Чего?

– Что он Зимин?

– Зимин? – глупо переспросил я.

4

Как описать человека с двумя улыбками одновременно? Человека с двумя выражениями на лице? Во всем облике этого В. Н. было что-то столь же двойственное, неопределенное, ускользающее, как в его писаниях. Он как-то назвал себя сани-

таром, предохраняющим от загнивания устои литературы, считался критиком язвительным, острым, не щадящим авторитетов, но всерьез ухитрился ни с кем отношений не испортить, потому что работал больше в жанре этакого обобщенного эссе, где можно было не называть прямо имен, предлагая желающим разгадывать намеки, более или менее прозрачные. Подлинное удовольствие было их потом смаковать, обсуждать. Любители таких занятий всегда находятся. Меня самого это одно время забавляло. Критика вовсе не обязана иметь отношения к тому, что написал обсуждаемый, к этой мысли я с некоторых пор успел привыкнуть. Удовлетвориться можно собственным пониманием. Критик создает свой, другой текст – проще его ни с чем конкретно не связывать. Можно развивать собственные концепции, теории. Интонация насмешливого снисходительного интеллектуала кажется убедительной, когда человек говорит о вещах, тебе не знакомых. Это была своего рода интеллектуальная беллетристика, можно было сочинительствовать, не заботясь о реальном объекте.

Статья его была посвящена разновидностям современного плагиата. Среди прочего, в ней цитировались – без имени автора – мои давние рассуждения о невозможности плагиата в литературе. Поэзия с развитыми традициями пользуется образами, ассоциациями, целыми блоками, заимствованными у предшественников, у современников, при этом первоисточники не называются. Радость филологов – обнаруживать соответствия, переключки. Писатель, как пчела, может брать взятки с разных цветов, плагиатом это нельзя считать, если он все перерабатывает в свое – в свой мед. Ну, и так далее. Примеры привести было нетрудно.

Допустим, – с этакой ласковой усмешечкой соглашался В. Н. Но вот вам недавняя реальная ситуация: писатель имел неосторожность раз-другой упомянуть в интервью, в разговорах, в выступлениях перед публикой о работе над своим многолетним, пока еще не завершенным замыслом, книгой «Времена жизни». Заглавие, на мой взгляд, само по себе удачное, во всяком случае многообещающее: времена жизни как времена года, от детства до старости, от весны до осени и

зимы. Как назвать поступок коллеги (между прочим, автора только что процитированных парадоксов), который использовал неосмотрительно выданное название для своего как раз – очень кстати – законченного сочинения? Так и видишь, как он с откровенной ухмылкой помахивает обокраденному лоху: ничего не поделаешь, дружок, заглавие не было по всей форме запатентовано, я успел раньше, поезд уже ушел, и за руку не схватишь...

Пакость была еще и в том, что я в своей книге действительно изобразил некоего писателя Зимина, у которого остался неосуществленный замысел именно под таким названием. Стоит ли говорить, что и это название, и своего пишущего героя я целиком выдумал? Намекал ли этот В. Н. на неизвестное мне реальное совпадение? И что человек, с которым я нечаянно разговорился в фойе, был тот самый писатель, не завершивший свои «Времена жизни»? Может, сам В. Н. нас тогда умышленно даже свел, наслаждаясь пикантностью ситуации? Задним числом я перебирал в памяти некоторые его слова, намеки. Ворованные этикетки... Зимин. А сам этот человек, названный Зиминным – знал ли он уже этот пасквиль? Тоже что-то сказал насчет подглядывания... Была, впрочем, надежда, что пишущие люди друг друга теперь редко читают. Я бы сам про эту выходку не узнал, если бы не подсказали доброжелатели...

Нет, еще и в том была пакость, что теоретически не исключалось ведь и своего рода бессознательное заимствование. Прочел где-то, услышал мельком, внимания вначале не обратил, но запало неявно – потом всплывает в уме неизвестно откуда, считаешь своим. Бывает и такое. Но ведь даже одинаковые названия у разных людей могут означать совсем разное – не могут не означать разное...

А! Ну его вообще к черту! Не вступать же с ним было в спор, не оправдываться, не требовать опровержения (в старину бы сказали: удовлетворения). Разве что не подать при встрече руки. Но встретиться с ним мне больше пока не пришлось. Противноватое чувство перебродило и улеглось. Думать о человеке, которого он с таким намеком назвал Зимин-

ным, было и вовсе незачем, звонить ему я, конечно, не соби-
рался. В нем что-то было, не располагающее к общению.
Странно: и говорил ведь он иной раз почти буквально то же,
что мог бы сказал я, как бы даже меня опережал, но тянуло
ему возражать...

Почему я сейчас о нем вспомнил?.. А, этот сегодняшний
старик на улице. Не отделаться от какого-то непроявленного
чувства. Зачем я ему понадобился? Мои слова, мои разговоры
ему были не обязательны – только присутствие, только слух.
И что-то еще... ведь почти готов был понять, вспомнить...

5

А... надо же было еще уточнить цитату, вдруг удивился
я собственной забывчивости. Не для него, для себя. Где-то, по-
мнится, осталось подчеркнуто на полях. В «Лекциях о Марсе-
ле Прусте» у Мераба Мамардашвили...

Только бы отвлечься от работы, – уличил я с усмешкой
себя, но уже доставал книгу, листал – в странном, нетерпели-
вом возбуждении, оно похоже было на все еще не объяснимое
предчувствие...

Вот: «Общение означает утрату человека перед лицом
самого себя. Когда мы общаемся друг с другом, наша дорога
в собственный мир закрыта».

Н-да, неточно я его, однако, цитировал. Приспосаблива-
ешь к своему пониманию. Я слышал Мераба не только в ауди-
тории, он и за столом, потягивая из бокала, не прочь был
увлеченно пофилософствовать, с готовностью откликался, ес-
ли его спросишь. Казалось, сам был заинтересован в слуша-
теле, искал понимания, ему его не хватало. Ему тоже. Велико-
лепный череп, губы тронуты едва заметной улыбкой. Человек,
ощущавший себя по-настоящему живым в момент душевного
творческого напряжения, готовый поделиться с другими тем,
что рождалось как будто в момент беседы. Невозможность
подлинной встречи – не это ли есть одиночество? Теперь уже
у него не спросишь, как все совмещалось в его голове.

Но разве, читая его сейчас, ты с ним не продолжаешь общаться? – тут же подумал я. И вовсе не для того, чтобы уйти от себя самого, наоборот, именно наоборот... Вдруг получишь направляющий толчок в зад, как выразился этот... только и остается называть его про себя Зиминым. Позвонить, что ли, ему? Может, удастся освободиться от какой-то зудящей, мешающей недоговоренности, что-то соединить, прояснить, выявить...

Куда я, однако, засунул тот бумажный обрывок? Вряд ли номер был переписан в записную книжку. Я этой книжкой почти перестал пользоваться. Известное дело. Слишком много номеров успевают с годами стать недействительными. Иных уж нет, а те далече. Немногие оставшиеся помню и так. Чьих-то фамилий уже вовсе не узнаю: кто такие, почему оказались записаны? А другим без повода не особенно теперь тянет звонить, тоже беда...

На всякий случай я потряс записной книжкой. Обрывок пригласительного билета выпал на стол...

Странно, почему я при этом нечаянно вздрогнул? Словно не ожидал. И вдруг ощутил, как нелепо было звонить незнакомому, в сущности, человеку. Даже не зная, как к нему обратиться. «Простите, запомятовал ваше имя-отчество?» А как представиться самому?..

6

Короткие частые гудки: занято. Что ж, попробуем еще раз. Все-таки ищешь повод отлынивать от работы? – неуверенно напомнил я себе опять. Кто-то невыявленный все еще так и оставался топтаться среди непонятной, бесноватой, уже наэлектризованной толпы. Но это напряженное предчувствие, ожидание, похожее на близость догадки?.. вдруг сейчас соединится?.. что?..

Нет, опять короткие гудки. Долго же, однако, он трепетя. Все, хватит. Как-нибудь потом. Надо, наконец, работать, – сказал я себе твердо. Или что-то с телефоном случилось? Ну, еще действительно последний раз, и все...

Длинный гудок – освободившийся вздох. Теперь никто не поднимал трубку. Вот тебе и на. Значит, его на самом деле нет дома? А занято было что-то на линии?.. бывает. Или я сейчас неверно набрал номер? Неоправдавшееся ожидание, гаснущее предчувствие, несостоявшееся соединение...

Снова длинные гудки... Что ж, хотя бы определенность. Работу сегодня все равно лучше отложить.

Вдруг трубку взяли.

– Извините, – пробормотал я. От неожиданности на время вылетело из головы, что я собирался сказать. – Вы, может, меня помните... на той встрече, вручение премий... я помянул в разговоре знакомого философа, обещал уточнить цитату... вы записали мне свой телефон. Не сумел дозвониться сразу.

Он слушал, не отвечая – может, не вспомнил, о чем это я, не понял, с кем говорит? Или именно понял? Я прочитал ему все-таки приготовленное. Нелепо выходило, нелепо...

– Спасибо, – сказал он наконец. – Ваша цитата, наверно, о том самом, я еще не готов переварить. Прочтите, если не трудно, еще раз, я запишу... Да, подумать есть над чем... Простите, что так рассеянно откликаюсь, – добавил он после небольшого молчания. – Не могу сразу собраться, перестроить мозги. Только что был какой-то странный звонок. Совершенно незнакомая женщина, встревоженная, почти испуганная. Что, говорит, делать, никто не хочет мне отвечать? Так, сразу, без предисловий. Вы это про что? – спрашиваю. Тоже не сразу переключился, думал о чем-то своем. – Про эти голоса. Они опять непонятно где, за стеной или за дверью. Мне сказали, что их нет, их не должно быть, но я же не выдумываю, послушайте. И не понять, чего они хотят, ко мне они обращаются или к кому-то другому. Спрашиваю – не отвечают. Что я должна сделать?.. Вы представляете, этакий разговор?

– Н-да, – понимающе хмыкнул я.

– Я постарался, конечно, отвечать мягко. Это, говорю, наверное, ошибка. Почему вы звоните мне? – Но мне сказали, я должна звонить по этому телефону, мне, если надо, ответят. – Вы, наверное, набрали, говорю, не тот номер. Какой у вас записан? – Не знаю, – говорит растерянно, – никакой не

записан. Но вы же мне отвечаете, я вас слышу, почему не тот? А эти – вот, опять – начинают смеяться. Если бы вошли, стало бы не так страшно. Я сама ведь не могу даже открыть дверь... Не буду вам всего пересказывать. Нельзя было так просто положить трубку. И говорил я, наверное, не так, как надо. А тут вдруг еще сразу ваш звонок. Я медлил подходить. Думал: может, опять она. Запомнила номер... Нелепое совпадение, бывает же так.

– Бывает, – подтвердил я. Меня подмывало рассказать ему еще и про сегодняшнюю встречу на улице. Совпадения на то и совпадения, что идут то и дело кучами. Одно к одному. Так иногда поймаешь рабочую мысль, и все добавляется в масть, на ту же тему: прочитанная страница, газетная новость, услышанный разговор...

– Совпадения вообще любят идти кучами, – сказал он. – За неделю, бывает, ни одного звонка, а сегодня подряд третий. Какая-то незнакомая дама приехала из Германии, ей нужно со мной увидеться... Или вот та же ваша цитата. Она уже ворочается в уме. Но разве думать о ней – значит уходить от своего? То же общение... Простите, что я вдруг разговорился. Меня разбередил этот сумасшедший звонок. Неуютное ощущение, не знаю, как объяснить. Я оказался к нему не готов. Чего-то не дослушал, не уловил. И сам не о том.

– Вам жаль, что теперь позвонила не она, – попробовал сострить я...

Вдруг явственно увидел своего собеседника: короткий сидящий ежик, острый неуютный взгляд. В маленькой комнате. Вместо стен, как и у меня, полки с книгами. Седина ранняя – я знаю таких, поседевших лет в сорок. Пожалуй, помладше меня, шестидесяти еще нет...

Среди облаков проглянуло солнце. Свет сквозь давно не мытое окно растворяет четкие очертания – роятся, играют ожившие, невидимые прежде пылинки. Оставляю ему фамилию Зимин. Имя-отчество так с прошлого раза и не уточнил...

– Извините, – вдруг оборвал разговор он, – звонок в дверь. Пойду открывать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Немка привезла Зимину письмо от знакомого литератора Игоря Бурлака, жившего за границей уже лет пятнадцать. Литератором, впрочем, его приходилось называть, затрудняясь с более точным обозначением: он крутился где-то возле редакций, кино, телевидения, способности проявлял разнообразные. Мог разыскать редкостную диковину для коллекционера, знакомому режиссеру однажды раздобыл для киношников танк времен первой мировой войны. Всюду он был вхож, всех знал. Познакомились они во времена, когда Зимин еще способен был засидеться в компании далеко за полночь. Домой собрался пойти пешком: транспорт уже не ходил, но жил он неподалеку. Тогда с ним и увязался подвыпивший, кудлатый, бурлящий темпераментным дружелюбием парень. Хозяйева уговаривали его у них переночевать, он отказался категорически, но уже у дверей принялся вдруг читать стихи – оказался поэтом. Стихи были такие же всклоченные, темпераментные, бурлящие, как сам автор, однако что-то забавное в них было.

Он бросил тряпку в таз, как сердце.
Она рыдала. Поцелуй
Ползли, как мокрые улитки,
По бледным тающим щекам...

Что-то в таком духе. Остановить его было непросто, прощание затянулось. На улице Зимин обнаружил, что уже начало рассветать. В воспоминании потом соединилось: молодая хмельная легкость в июньском городском воздухе, асфальт еще выдыхает остатки накопленного накануне жара, Бурлак продолжает декламировать свои безразмерные вирши, размахивая руками. Сам Зимин ощущал себя захмелевшим больше, чем был только что. Поймать такси никак не удавалось. Игорь вдруг увидел приближавшийся хлебный фургон, отчаянно рванулся на проезжую часть, заставил остановиться. Дохнуло теплой утренной выпечкой. Зимин подключился к переговорам, у него оказалось при себе достаточно денег, и водителю было почти по пути. Он уже, согласясь, распахнул дверцу кабины, Бурлак поставил на высокую ступеньку ногу, Зимин собрался его посадить – тот его отстранил. «Постой, – сказал вдруг, – а он даст мне теплую булочку? Дашь мне сейчас теплую булочку?» – обратился к шоферу. «Чего?» – переспросил тот. «Дашь мне теплую булочку – поеду, – сформулировал ультиматум Бурлак, – не дашь, не поеду». Не успел даже убрать со ступеньки ногу, едва не упал – фургон дернулся с места прежде, чем водитель захлопнул, матерясь, дверцу. Приключение едва не закончилось тем, что Зимин привел его к себе, хотя уже представлял, как их могла встретить Алина, уже делал Игорю на лестничной площадке знак пальцем у губ: дома спал тогда еще годовалый Павлик. Игорь проявил больше трезвости – в последний момент дал отбой, повернулся и сбежал по ступеням. Спорхнул, не споткнувшись.

Потом у Зимина не раз возникало чувство, что Бурлак, как бывает со многими, отчасти разыгрывал из себя более пьяного, чем был на самом деле, но контроля над собой не терял. У других хмельные выходки отдают запахом перегара и хамской блевотины – у него все было по-своему артистично. Заявился на другой день то ли извиниться, то ли поблагодарить за вчерашнее, не то чтобы причесанный (такие кудри прическе до конца не поддавались) – притихший, с охапкой неизвестно где нарванных алых пионов (не забыл о жене) и двумя бутылками вина без этикеток, разливного, из молдав-

ских бочек, оно оказалось и впрямь превосходным. Алина цветы приняла холодно, даже мрачно: не хватало ей мужских поделок на кухне, когда за стеной спал малыш. С ней пришлось потом объясняться: нельзя же было просто отогнать от себя расположенного человека.

Тот и впрямь проникся к Зимину труднообъяснимой симпатией, даже кое-что удосужился у него прочесть – это при том, что прозу, по его словам, читать вообще не мог. Терпения хватало страницы на три-четыре: многословная тягомотина, недоделанная, непереваренная литература. Все можно было выразить куда более сжато, емко. Стихи представлялись ему чем-то вроде отцеженной и сгущенной прозы. Собственная поэзия была для него способом хоть как-то организовать, сконцентрировать, направить то, что безостановочно рождалось внутри, требовало выхода.

На сей счет существовало, оказывается, нечто вроде научной теории. В человеческом мозгу постоянно происходит переработка информации, образов, впечатлений, мыслей. Для здоровья умственного и физического продукты этой переработки приходится то и дело из себя выделять в виде слов (как выделяется из организма пот и другие отработанные вещества физической жизнедеятельности). Иначе возникает угроза разных застойных явлений, мысль засоряется, в мозгу начинают рождаться химеры, навязчивые идеи, автоматическое пустословие – умственные яды. Важна способность овладеть этим процессом, использовать энергию в осмысленных целях. Водопад тоже может вращать турбину, может грохотать впустую. Своему обычному трепу сам-то Бурлак знал цену – он тут же обезоруживал готовностью над собой посмеяться. Сочинение стихов заставляло во всяком случае притормозить, напрячься, сосредоточиться. Пишущих ради заработка развращает возможность получать гонорар за количество строк, прозаиков даже больше, чем поэтов. Но нам-то с вами все равно ведь не платят, нас не печатают, – говорил он, впрочем, вовсе не сравнивая себя с Зиминим. Тот был для него старшим мэтром, способным обобщенно мыслить –

только бы еще ужать все эти повествовательные необязательности.

– Вот, у вас есть замечательное место про зависть как негатив злорадства: сравниваешь ли себя с более удачливыми или с менее удачливыми. И про невозможность зависти к несравнимым, благородство бескорыстного восхищения. Читаешь, прямо как про нас с вами – хорошо сказано. Ведь я вам завидовать не могу, такие мы разные. Но зачем размазывать на три страницы? Хватило бы емкого поэтического образа, только найти. Я, допустим, не могу. Попробовал потужиться – набралось на две первых строчки.

Разве скажешь журавлю:
Я летать, как ты, люблю?
– Зависть светлячка к сычу:
Ты моргаешь, я свечу, –

неожиданно для самого себя откликнулся Зимин.

– Ну вот, я же говорил, вы тоже умеете, только попасть в струю, – восхитился Бурлак. И сам тотчас продолжил:

– Ты никто для журавля,
Копшащаяся тля...

Алина фыркала, слушая, как двое подвыпивших мужчин пустились наперебой выдавать какую-то ритмизованную беллиберду, иногда с рифмой, иногда без. Некоторое время она еще продолжала сердиться на Зимина: подобрал себе на улице графомана, умеет польстить, сам, глядишь, заразишься. Постепенно, однако, смягчилась. Тем более что малыш Бурлака обожал, выбегал навстречу, едва тот приходил, повисал на нем. Игорь тут же ловко переворачивал его через себя, кувыр-кал на руке, оба начинали возиться, играть на полу. Алина смотрела на обоих с обычной своей усмешкой: дети, большой и малый.

Женщины вообще долго сердиться на этого человека, видимо, не могли, он не зря пользовался у них завидным успе-

хом. Плечистый, скуластый кудряш, коричневые веки, темнота вокруг глаз. В модных журналах дамам рекомендовали подрисовывать такие тени, чтобы сделать взор, что называется, жгучим – Бурлак имел эффектный макияж от природы. Он и под гитару умел спеть, то цыганский романс, а то и песню собственного сочинения. У Зиминых он с гитарой, правда, не появлялся – Алины все-таки побаивался. Но подладиться к ней тоже сумел.

Слаб человек на похвалу, что говорить. Как было не растаять, когда он начинал говорить, что приходит в этот дом подышать особым, очищенным воздухом, воздухом семейного счастья.

– Вы то ли из другого времени, то ли из другой жизни. Я, честно говоря, к вам присматриваюсь, не могу понять, – признался однажды он. – Думаете, что такие как вы – это и есть нормальные люди?.. То же и ваша проза, – переходил он на Зимина. – Не могу сказать, что у вас в книгах вранье. Ведь знаешь, в каком ты живешь дерьме, каким дышишь воздухом. Но вас я уличить не могу.

И в подтверждение начинал разбирать какой-нибудь эпизод, например про художника, который обдумывает картину по мотивам рублевской «Троицы»: перед троими поллитровка и три стакана. А за ним по дому ковыляет папаша, ввалившийся в детство старик, вдруг плаксиво, жалобно стонет: «Я какать хочу» – и не успевает дойти до места, приходится его обмывать, обстирывать. А за окном тут же – сиянье осеннего леса, золотой трепет в воздухе: медленно опадают последние листья, они устилают дорожку, незаметно сиянье перемещается – лес теперь светится снизу.

– По отдельности я бы таких пейзажей, честное слово, не принял, слишком красиво, и опять же, слов много. Но вместе... Как-то это соединяется: и дерьмо, и жалость, и воздух, и красота. Читаешь – думаешь: жить все-таки можно...

Считать Бурлака просто графоманом и трепачом, пожалуй, все же не стоило. Что-то в нем было. Он и в стихах, и в жизни больше создавал образ этакого простодушного ру-

бахи-парня, чем таким был на самом деле. Хотя, игра, как известно, может настолько срастись с природой – не разделить.

Некоторую настороженность продолжали у Алины вызывать слишком уж вольные речи этого Бурлака в любой мало-знакомой компании. На сей счет сами собой возникали известные по тем временам подозрения – но с таким же правом он сам готов был кого угодно обозвать стукачом. Если ему всевозможные выходки, нетрезвые выкрики обходились без последствий, то скорей просто потому, что его привыкли не принимать всерьез. Он и тут умел изобразить из себя немного дурачка.

«Почему ты не закрываешь кран?» – сделала ему однажды замечание Алина. «Не хочу я им ничего закрывать, – насупился пьяно он. – Пусть у них все развалится, наконец, к чертовой матери». – «У кого это у них?» – не поняла сразу она – и лишь потом расхохоталась. «Они» для этого диссидента означали советскую власть, кого же еще?

На всякий случай стоило, конечно, не переходить с ним границу осторожности. Как-то он сказал Зимину, что есть возможность переправить рукописи на Запад, не хочет ли он воспользоваться? Тот уклончиво пожал плечами, сам не мог бы сказать, почему; потом, признаться, жалел. Больше этот разговор не возобновлялся. Раз-другой заводилась речь на тему отъезда, занимавшую тогда умы. «Неужели вы не хотите уехать? – искренне удивлялся Бурлак. – Будь у меня такая возможность, я не думал бы ни минуты. Прожить всю жизнь в этом нужнике, в камере, в этом спертом воздухе, не увидеть мира?..»

Зимину потом вспоминалось не раз, как помалкивала, слушая эти разговоры, Алина. Может, он обращался больше даже к ней, чем к нему? В обсуждения вдаваться тогда не хотелось. Доводы значили слишком мало, каждый мог решать лишь для себя, по своей мерке. Осмысливать кое-что пришлось заново, когда уезжать решила она...

Оказалось все-таки неожиданностью узнать, что Бурлак вдруг женился на иностранке и тут же укатил с ней куда-то в Германию. Случилось это летом, когда Зимина не было

в Москве, подробностей он не знал. Единственный раз дошло от него письмо в конверте с московским штемпелем, без обратного адреса – переправил с оказией. Продолжал, видно, не доверять почте обычной. Узнать что-либо о его жизни из письма было нельзя – это оказались стихи.

Описывать мне не хватает места,
Нет времени процеживать слова.
Течение увлекает, тащит дальше,
Не успеваешь толком зацепиться,
Переворачивает, кувыркает,
Вдруг ненароком ушибет о камни,
Барахтаешься, поднимаешь муть.
Как просто было раньше знать: свобода
Есть то, чего у нас как раз и нет.
Ну вот она. Заглатывай от пуза,
До одурения, до тошноты,
Наматывай на вилку бесконечность,
Откусывай, старайся не давиться
И наслаждайся сбывшейся мечтой.
Полопаются пузырьки – отрыжка,
(Шампанское – питье не для меня)
И тащит дальше. Новые соблазны.
А наверху, на камне, закрепившись,
Кольшется морской цветок актиния,
Улавливает течение вод
Своими щупальцами-лепестками.
Счастливое природное устройство
Без суеты. Ей незачем искать,
Ей можно обходиться без движенья.
Хватай, что кстати проплывает мимо,
И переваривай, сосредоточась.
Скажи мне, обращаюсь я к актинии,
Как наслажденье отличить от счастья?
Его мы только ловим безуспешно
И сомневаемся: а дальше что?
Ну, это просто, говорит актиния.
Как только наслажденье миновало,
Оно становится мне безразлично.
Уже его не вспомнишь, и зачем?

А счастье, даже оставаясь в прошлом,
Нам отзовется чуть ли не слезой
Умильной. Помнишь ведь, как это было:
Соленый огурец, горбушка хлеба
Под выпивку и – главное – беседа?
Беседа – неразменная монета,
Добавка алхимического зелья,
Неисчерпаемая скатерть-самобранка.
Смакуй, разжевывай, глотай, питайся –
Вкус остается навсегда с тобой...

Зимин посмеивался, читая – намеки угадывались без труда. Да, что-то ушло из жизни вместе с этим шалопаем или прохиндеем, – вынужден был признать он. Стало серей и скучней. Впрочем, само время об этом заботилось. Увы...

Новое, привезенное немкой письмо и вовсе было непорочно отправить по почте. Оно было напечатано на компьютере, и не на отдельных страницах, а на сплошном длинном листе из рулона. Дорвался теперь и до подходящего материала. И тоже начиналось сразу стихами. Читать его при госте Зимин, конечно, не стал – отложил на потом. Вряд ли оно помогло бы понять, как он на самом деле живет, чем зарабатывает. Это и в московской его жизни осталось не до конца проясненным.

– Находит где стипендию, где пособие, – с усмешкой ответила на вопрос немка. – Даже пел где-то, кажется, песни, но это я не знаю. Еще я слышала, работал на русском радио, его уволили, он через суд получил компенсацию, хорошую. Наша система не разрешает пропасть, кто умеет пользоваться. А Игорь всегда умел. Такие не пропадают нигде. Особенно пока есть женщины, готовые поддержать, подкормить...

Зимину понравилась эта насмешливая интонация. Он чуть не сострил, что всегда считал это подлинным даром, даже, если угодно, профессией Бурлака: способность устраиваться при женщинах. Вовремя удержался. До него лишь с запозданием дошло, что перед ним та самая иностранка, женитьба на которой позволила Игорю переселиться на Запад.

Сколько ей было? Около сорока, с поправкой в ту или другую сторону – в зависимости от освещения. Коротко стриженные волосы в пасмурном свете из окна отливали холодным металлом. (Такая прическа и называлась, кажется, «стальная»). Не так просто было понять, создавался ли этот эффект искусной окраской или присутствием природной седины – элегантно был цвет, делавший еще более теплым и темным искусственный загар лица; металлически пружинистой казалась сухощавая, спортивная фигура. Звали ее Сабина. По-русски она говорила с незначительным акцентом, иногда замедляла речь, чтобы выстроить ее в согласии с предписаниями нормативной грамматики. Случавшиеся неправильности звучали при этом по-своему мило.

Она прожила в Москве полтора года во времена, когда страна еще называлась Союз такой-то, успела познакомиться со множеством разнообразных людей. В разговоре довольно скоро обнаружилось, что они и с Зиминим вполне могли встречаться на какой-нибудь из тогдашних кухонь, просто не выделили, не отметили друг друга взглядом.

О, эти уже не раз воспетые московские и прочие кухни, памятные многолюдные посиделки, накуренный воздух нескончаемых обсуждений, шумных разговоров, неотчетливых знакомств! Эти стихи непризнанных гениев, картины полуподпольных художников – несравненных по определению: а с кем было сравнивать? Эти песни, которых нельзя было услышать по радио, но которые звучали всюду, переписанные на магнитофонные пленки. Эти сборные закуски под водку, мешавшуюся с сомнительным портвейном, чудовищные свекольники, винегреты, которые так часто составляли потом содержимое блевотины на заснеженной улице, если не прямо на лестничной площадке или даже в туалете, промазав мимо унитаза. Угощения, как и разговоры, как и компании, впрочем, бывали разные; понятие «кухни» приобретало оттенок скорей условного обобщения. Хотя во многих тогдашних квартирах это действительно могло быть единственным местом,

где шум сборищ не так мешал утомленным бледным чадам за стенкой готовить на завтра свои уроки, а прочим незаинтересованным членам семейства смотреть телевизор; но мало что могло помешать компании растечься и по остальным помещениям. Нередко местом сборищ оказывались вполне изысканные салоны, где стол накрывался крахмальной скатертью, и на нее выставлялась не только икра или осетрина, и коньяк подавался настоящий, тонкий, многолетней выдержки.

Сабина могла бы на эту тему рассказать куда больше, чем Зимин. Известное дело, местный житель вообще бывает осведомлен о своей жизни меньше любознательного приезжего. Разве что иногда поводит того же гостя по достопримечательностям, которых сам чаще всего не замечает, как не замечаешь по пути на работу под карнизом запущенного дома сохранившуюся лепнину или остатки первоклассной мозаики. Аборигену обычно не до познавательных экскурсий. Да и не всюду ему бывает просто попасть. Ему вполне хватает доступного, своего или хотя бы относительно близкого. То ли дело иностранка, приехавшая сюда, как этнограф, собирать материал. Дипломная работа, а потом и диссертация Сабины были посвящены именно сравнению этих самых московских кухонь и венских кафе как культурных феноменов.

Готовящие на кухне еду, зажигающие газовые горелки, моющие кучи посуды после отшумевших встреч меньше всего способны были воспринимать свою обыденность как предмет культурологического исследования. Живущим внутри феномена трудно разглядеть слишком привычное, феномен открывается скорей взгляду со стороны. Особенно в эффектном сравнении.

В те же знаменитые венские кафе приходили не просто поужинать или выпить кофе, здесь собирались завсегдатаи, близкие по интересам. Кафе охотников и коллекционеров отличались от кафе артистических и литературных, в каждом была своя, особая обстановка, мебель, посуда, свои напитки и фирменные блюда, у некоторых свои песни, у других танцы. Здесь заводились полезные знакомства, обсуждались дела, сплетни, новости и события, здесь создавались репутации.

Были свои знаменитости и скандалисты, свои легенды и мифы, свои самоубийцы. Посторонним попасть не в свое кафе бывало не всегда просто. Портье у входа мог, вопреки очевидности, не моргнув глазом, сказать, что свободных мест сейчас нет, неосторожно вошедший напрасно дожидался обслуживания, прежде чем до него доходило, что лучше ему здесь не задерживаться, покуда не выставили с конфузом. И каково было, в самом деле, обнаружить себя угодившим по неведению в кафе гомосексуалистов, не более, не менее?

Московские кухни нетрудно было классифицировать по схожим статьям. Чтобы попасть к художнику, знаменитому в узких кругах, достаточно было обзавестись поверхностным знакомством, эти люди были гостеприимны, потенциальных покупателей, да и просто зрителей привечали. Безразмерные диссидентские кухни оказались демократичны сверх ожиданий, как будто тут об осторожности заботились меньше, чем надо бы. Проникнуть на них соглядатаю не составляло труда. Несколько более отгорожены от чужаков были называвшие себя эзотерическим андеграундом – в самоназвании слышался намек и на избранность, и на полузапретность. Ячейки своего рода катакомбных церквей собирались, словно семьи, на других кухнях, каждая вокруг своего отца-проповедника; прозелитов они, впрочем, принимали охотно. Но вот уж кухни национальных единомышленников закрыты были для персон с неподходящим паспортным пунктом, конечно же, не меньше, чем упомянутые гомосексуальные кафе для представителей неправильной ориентации.

Перечислять можно долго – не пересказывать же всю диссертацию. Содержательные различия Сабину интересовали меньше всего. Она лишь прилежно записывала необходимое в блокноте, переспрашивая не вполне понятное, но тем более интересное. На этих страничках можно было найти разговоры о посмертном существовании, о ментальности богов и великой пустоте, о незаконных репрессиях и соблюдении прав, о кознях коварно внедренной нации и о всемирном заговоре, возникшем прежде, чем родились на свет намеченные в жертву, о жертвенности как духовном принципе, о цензуре и демо-

кратии, о избранничестве и непризнанности, о фекалиях как достойном художественном объекте. Вникать каждый раз в смысл было необязательно, давать оценки не входило в ее цели, это было не нужно. Главным для ее темы оказывались общекультурные, структурные, знаковые и прочие соответствия.

Тут, между прочим, она как раз многим оказалась обязана Игорю Бурлаку. Счастливое устройство природы позволяло ему по-свойски возникать всюду (может быть, всюду вызывая одинаковые подозрения – но ведь пускали). Лучшего провожатого по Москве Сабина себе не могла желать. Стоило ли задаваться вопросом: что нашла иностранка в этом растрепанном клоко-чущем типе? Тоже, значит, оказалась не защищена от трудно-объяснимого русского обаяния. Точно так же неверно было бы утверждать, что недолгий муж Сабины просто воспользовался ею, чтобы покинуть страну. Она сама так не считала. Прошлые состояния вообще не стоило мерить меняющимися мерками, они сохраняют свою, прежнюю ценность. Странные теперь кухонные посиделки так и остались в ряду молодых воспоминаний, с объяснениями на холодной лестничной площадке, нервно докуренными сигаретами, теплой курткой, накинутой на продрогшие плечи невидимыми руками – ну, и со всем, что называется любовными приключениями. У себя дома ей слишком долго пришлось осваивать новые свободные представления с чужих слов, вприглядку – мать ухитрилась сохранять над ней контроль. Надо было отдалиться от нее, чтобы ощутить и пережить настоящую свободу; домашняя, кухонная жизнь в стране, где все привычно стесало от всеобъемлющего зажима, показалась непривычно вольной. Тако-го, как тут, она просто еще не испытывала. Дома даже неприличия были расписаны и регламентированы. Тут Сабина участвовала в чьих-то личных отношениях, утешала брошенных женщин, мирила ссорящихся. Главного было теперь даже не объяснить – как не объяснить протрезвевшему человеку восхитительность странного, лишь отчасти хмельного состояния, чего-то, что называется едва ли переводимым на нормальные языки словом «задушевность», как не описать не испытанным

возбуждающего дуновения холодка, предвещавшего то и дело опасность. Будоражающее ощущение риска – вот чего нельзя было испытать в венских кафе. Там, открыв двери, выходили в тот же открытый мир, на тот же простор – и дальше куда угодно. А тут еще и очередной холодок по спине при таможенном досмотре, когда ты вызывалась провезти за границу чьи-то рукописи, рисунки или хотя бы письма. У Сабины все сходило благополучно.

Теперь вот выход открыли, выпустили пересжатый воздух, давление сравнялось, выровнялось – стало почти как там. Былые знакомые разъехались кто куда, некоторые стали знаменитостями, отчасти, может быть, по инерции, в Москве оказалось непонятно кому звонить. И прежнего здешнего кайфа она пока не могла поймать, не могла бы сама себе объяснить, в чем было приобретение, в чем потеря.

– Мне говорили, у вас кухни уже не те. У вас теперь тоже кафе. Культура и общение теперь перешли туда, нет? Я приехала сюда говорить про мой новый проект, он как раз тоже связан с кафе. Кафе для общения singles. Но еще не совсем успела. Я даже еще не видела Москву. Она показалась мне, как незнакомый город.

– Насчет кафе вряд ли что могу вам сказать, – пожал плечами Зимин. Незнакомое иностранное слово он не разобрал, но переспрашивать не хотелось. – Всегда был человеком, в общем, домашним. Теперь и готовлю себе сам. Главное, работа домашняя.

Показал взглядом на письменный стол. Немка вслед за ним оглядела тесную комнату. Дом напротив загораживал свет, окно было давно не мыто. Старомодная настольная лампа под матерчатым абажуром горела по необходимости средь бела дня. Странно, почему так тесны оказывались в России квартиры при таких обширных фасадах. В старом немецком городке фасад мог быть всего-то в одно окно, зато внутри пространство словно вопреки геометрии разрасталось, сам собой возникал простор. И вдобавок эти книжные полки по всем стенам. Где еще увидишь в жилой комнате столько книг? Попробуй представить жизнь, которая оставляет время все их

прочсть. Как говорили когда-то: страна, где книги могут заменить жизнь. А вот компьютера на столе не видно, даже пишущей машинки. Словно попадаешь в дремлющую провинцию, полугород, полудеревню, где продавщица в магазине до сих пор щелкает костяшками древних счетов, где можно жить, до конца не проснувшись, в душном тепле, и находить в этой жизни свое труднообъяснимое очарование. Игорь говорил ей об этом Зимине как о человеке, может быть, вымирающей, почти всюду уже исчезавшей породы. Почему у него такой насупленный, насмешливый взгляд? И прическа такая колючая – не тронешь?

– Значит, вы тоже single? – сказала она – и тут лишь заметила непонимающее движение брови. – А... как это по-русски?.. – не сразу смогла вспомнить. – По-немецки einsam... забываю свои слова, у нас теперь половина терминов американские... Одинокий, да?

– Тоже нашли слово, – непонятно усмехнулся он. – Ваш проект, стало быть – общение одиноких? Как забавно.

– Что забавно?

– Совпадение. Я, как вам сказать?.. тоже обдумывал что-то похожее... Не знаю, как это назвать. Как озаглавить. А вы говорите, проект? Проект «Одиночество»?

Разговаривая с иностранцем, порой начинаешь замечать в собственной речи нечто вроде акцента: как будто невольно стараешься подбирать не просто более понятные ему слова – интонацию.

– Правда, интересно, – оживилась она. – Вы тоже это понимаете?

Проблема одиночества, проблема общения – чего же тут было не понимать? Разные языки только называют одно и то же по-разному. И время предъявляет каждый раз новые требования, требует искать новые решения. Новый тип жизни, новый темп работы, новое одиночество, новые возможности общения, да? Правильно? Чего стоит хотя бы эта новая электронная паутина, сеть, которая позволяет всем легко связываться, разговаривать, жить в мире, не выходя из дома. Одиночество – это теперь во многом проблема высокоразвитых лю-

дей. Потому что оно все больше становится условием карьеры, да? Оно делает человека более подвижным, свободным, работоспособным. Профессиональный успех невозможен без максимальной развязанности, как это по-русски?.. Но вы понимаете? Женщине это нужно особенно, это обеспечивает социальную независимость. После сексуальной революции брак становится все менее обязательен, это уже не требует драм. Одинокий человек быстро вступает в связи, быстро разочаровывается. Привязанности – это как идеал, которого не существует, да? Но, конечно, во всем появляется обратная сторона. Обратная сторона есть во всякой привилегированной жизни, ничего не поделаешь. В этой жизни есть свои депрессии, есть своя озабоченность. Разговор сейчас не идет о людях старого возраста, для них – да, одиночество – это другая проблема. Это бывает ужасно... (Сабину передернуло от какого-то непроизнесенного воспоминания). Нет, ее новый проект был для возраста, который называют, как это говорят? Брачным. 25–45 лет. В одном Берлине сейчас более миллиона одиноких...

Зимин слушал ее рассеянно, мысли его, увы, отклонялись невольно в сторону. С автоматизмом холостяка, уже к тому же утомленного долгим постом, он оценивал ее нечестным, раздваивающим, мужским взглядом, словно примеряя возможность естественного продолжения. Элегантная строгость была не более чем стильной картинкой из журнала мод. Что прикрывала эта холодная, металлически отражавшая взгляд поверхность? Западная, одинокая, энергичная женщина, без комплексов и предрассудков. И возраст далеко не юный. Слова о сексе звучали в ее устах, как производственные термины. К такой можно бы, наверное, подступить, но попробуй еще себя заведи. После мысленного раздевания удавалось оставить подобие манекена, на более. Тоска и скука. Опять лишь кажется, будто вы говорите об одном и том же...

Проект, с которым приехала немка, предполагал своего рода систему, сеть разнообразных заведений, отчасти виртуальных, но среди прочего и кафе – от своей темы она не ушла, да? Предполагалось организовать общение для людей, которые друг друга не знали, приезжали из разных мест и предпо-

чли бы оставаться для начала анонимными. Не открывать настоящего имени, адреса, бизнеса. Им можно было давать простой псевдоним, большой значок на груди или что-то вроде. Информацию будут оставлять себе только посредники, их дело собирать заявки, учитывать желания, предлагать возможные варианты. Эти самые singles встречаются, чтобы вместе провести время, поужинать, потанцевать – и дальше по взаимному согласию. Но без обязательств – на пробу, да? Как это сказать по-русски?..

– Что-то среднее между борделем и дискотекой? – полувопросительно сказал Зимин.

– О, нет, нет, – она засмеялась и даже легонько хлопнула его по руке, как надерзившего школьника. – Я, наверно, неправильно объясняю. Бордель – это просто секс, на один раз. Хотя там продолжения тоже возможны, – признала тут же она. – И это только для мужчин. То есть для женщин теперь тоже есть, – пришлось снова оговориться, – но не надо сравнивать. Тут все равноценны, равноправны. И дискотека – это более для одного возраста, одного интереса. Нет, этот проект синтетический. Тут еще играет роль модератор, да? В программе есть игры, викторины, чтобы сопоставлять вкусы.

– Я что-то похожее видел по телевизору.

– О, у вас теперь тоже есть? – оживилась Сабина. – Была тоже идея: показать на тиви. Но тут сразу проблема с анонимностью. Не всем хочется, чтобы их увидели знакомые, это не надо. Анонимность особенно проблематична.

– Можно предложить им маски, – усмехнулся Зимин.

– Bitte? – переспросила Сабина.

– Чтобы желающие могли перед встречей прикрыть лицо или часть лица маской. Встречаются и танцуют, не видя друг друга, как на старинных маскарадах. Там ведь в чем было особое очарование? С закрытым лицом можно было позволить себе больше вольности. В ваших заведениях маски лучше всего предлагать стандартные, без всякой индивидуальности, ничего не подсказывающие, не вводящие в заблуждение. Это может расположить к особенной откровенности.

– Это идея? – вопросительно произнесла немка. – Это идея, – повторила она утвердительно, но еще слегка удивленным, недоверчивым тоном.

– Я когда-то не раз пробовал пофантазировать о жизни с ненастоящими, подменными, закрытыми для взгляда лицами. Кое-что начинал, но так и не дописал. У меня вообще накопилось больше незавершенных идей, чем завершенных. На подобную тему как-то пробовал размышлять персонаж одного моего рассказа. Что мы знаем о человеке, глядя на него? Вы обо мне, я о вас? Нам лишь кажется, что мы видим лицо, мы видим маску. Маску можно нарисовать, можно украсить. Ну, и так далее. Это бесконечная тема. Вдруг обнаруживается, что людям лучше, удобнее, когда они меньше знают друг друга и не стремятся узнать. Известные приличия для того и существуют, чтобы облегчать общение. Неприлично задавать незнакомому вопросы. Кто вы, что с вами? Европейскому человеку это, наверно, особенно понятно, да? Хотя кто-нибудь, может, только и ждет, чтобы его спросили. Самому навязываться еще неприличнее, да? – Он снова заметил, что начинает нечаянно повторять ее интонацию. – Ну, и так далее. Вообще лучше друг перед другом не открываться. Интересным может быть только неизвестное. Когда имеешь дело с известным, сам говоришь не более чем банальности. Настоящая встреча – это всегда неожиданность. Потому мы чаще всего предпочтем от нее уклониться. Мало ли что нам откроется, чем все обернется? Лучше не рисковать. Так, общаемся, потрогаем один другого легкими, пробными шупальцами...

Он сделал поясняющее движение пальцами.

– Простите, я не все поняла? – переспросила Сабина. Ей приходилось сейчас вслушиваться в русскую речь напряженно.

– Неважно, – оборвал себя Зимин. – Так, болтовня персонажа на тему масок и свободы, которую они позволяют.

– О, сейчас свободу берут, сколько хотят, и без масок обходятся. Можно совсем раздеться. Вы бы посмотрели, как у нас в некоторых местах танцуют. Совсем голые – это ничего,

в нижнем белье. В белье, теперь считают, больше эротики. Но маски – это для меня идея? Еще не ясно, как. Я могу ее себе взять?

– Берите, – засмеялся Зимин. – Бесплатно.

– Бесплатно! – засмеялась и она. – Как это у вас всегда было смешно и мило. Непрактичность и... как это?.. духовность, да?

– Не знаю, относится ли это ко мне, – уклонился Зимин. – Парадоксы, как я уже говорил, принадлежат одному моему герою. Идея не слишком новая, считать такое своим вряд ли можно. А вот разыграть ее действительно в масках – это придумали без меня молодые артисты. Они сделали как-то спектакль по моим рассказам. Я узнал про него от знакомых, случайно. У меня даже не спросили разрешения. А я ничего и не мог им сказать. Это было довольно давно, тексты ходили по рукам, не напечатанные, об авторских правах говорить вообще не приходилось. И спектакли они давали бесплатно, без афиши, в каком-то подвале. Славные времена, вы еще их застали. К чему я это, однако, рассказываю? Текст мой эти ребята использовали без искажений, но персонажей, современных людей, сделали кем-то вроде клоунов. Костюмы, парики, приставные носы. А некоторые лица просто покрасили и по ходу спектакля меняли у всех маски, грим. Кто-то кому-то объясняется в любви – не поймешь кто, не поймешь кому, оказывалось неважно. Житейская путаница, взаимозаменяемость. Постепенно лица становились у всех просто белые, совсем мертвенные. Разговоры неживых. Я этого не писал. Сюжеты не казались мне абсурдными, житейский реализм, не более. И текста, повторяю, не тронули. У меня мороз шел по коже, а в зале смеялись. В тот раз я ушел, даже не представившись. Не знал, что этим ребятам сказать. Потребовалось время, чтобы переварить. Я вообще тугодум.

– Как интересно, – сказала Сабина. – Почему я это не вижу?

– Вам с Игорем было не до того.

– Ну, Игорь! – с усмешкой отмахнулась она. – А вы мне можете показать этот театр?

– О, его давно уже нет. И ребята теперь неизвестно где. Перед подвалом, я как-то видел, стоят роскошные мерседесы. Там теперь фирменный ресторан, мне, при моих деньгах, внутрь даже не попасть. И не хочу. Я вообще стал теперь почему-то избегать мест, которые для меня что-то когда-то значили. Другие вывески, другая жизнь. Видишь стены, на них оседало когда-то твое дыхание – нет, осталась пустая кирпичная оболочка. Штукатурка, обои, все прежние слои содраны, заменены. А потом вдруг увидишь на углу старой трансформаторной будки выбоину – сын бросил когда-то в костер найденный во дворе патрон, как ему глаз не вышибло? Вот тут только вздрогнешь – еще осталось.

– Слушайте, – сказала она, – я хочу увидеть в Москве ваши места. Не достопримечательности, как в путеводителе, которые для всех одинаковые, без лица. Тоже, как в маске, да?

– Не знаю, можно ли это показать. Любое место может стать единственным, неповторимым, если оно за тебя зацепилось. Вот, зацепили вы здесь, скажем, юбку или порвали чулок, да? Про него потом найдется что рассказать, вспомнить. Но можно ли передать свое чувство другому?

– Я серьезно, – посмотрела на него, решая вопрос, Сабина. Зимин пожал плечами – не возражая, не соглашаясь. Она растолковала его жест сама. – Где мы с вами встретимся завтра?..

3

Оставшись один, Зимин не сразу вспомнил, что собирался сделать. Наконец, вспомнил, развернул письмо Бурлака.

«Философ, вот сюжет для размышленья, –

начинал тот без предисловий и обычных эпистолярных приветствий. –

Ты наблюдаешь со своей вершины
Бессмысленные проявления жизни,
Бурление пузырей, движение частиц

По траекториям необъяснимым.
Попробуй в них понять закономерность,
А значит смысл, загадочный для смертных.
В Италии, среди зеленых гор,
Я выпивал с художником, из наших,
Непризнанных когда-то. Рафаэль.
(На имечко ему не поскупились
Родители). Но для меня он Раф.
Над словом «живопись» он насмеялся.

Для него

Она доисторический период, что ли.
«Когда я живописью занимался там,
Еще в Союзе», – говорил он, пальцем
Большим показывая за плечо, назад,
И губы в снисходительной ухмылке
Кривились. Нет, теперь
Он занимался интеллектуальным
Искусством, синтезом или дискурсом
(Я, может, просто путаю слова).
А если рисовал, то, скажем, кровью
Своей же или соком насекомых
Раздавленных. И по бокам писал
В оккультном духе что-нибудь. И знаки,
И прочее. Ну, в общем, пробивался,
Как мог. Имел маршана,
Каких-то покупателей. И я
Готов был должное ему отдать: умеет.

Хотя понять

При всем желании не мог. Так вот, в горах
Италии он акцию устроил:
Торжественные похороны бабки,
Которая скончалась там, в Тамбове.
Зеваки собрались поглазеть.
Художник долго, медленно копал
Сначала ямку маленькой лопатой,
Потом стал землю выгребать руками.
Вдруг в ямке оказалась змея.
Зеваки отшатнулись в испуге:
Не ядовита ли? Художник сделал
Ножом себе надрез на левой

Руке и в ямку
Стал капать кровью. (Матерьял привычный,
Кровопусканье шло ему на пользу).
Кровь, кадая, обозначала след. Змея
Ползла по этой траектории. Художник
Стал тут же этот след изображать
На заготовленном листе бумаги.
Чертеж ли получался, шифр, картина?
Звучала музыка, горел костер,
Варилось что-то в котелке из трав,
Распространялся запах. Итальянка,
С которой жил тогда художник,(истеричка
Почище наших, я с ней тоже спал),
Неподалеку за кустом навзрыд
По-итальянски что-то бормотала.
Молилась, надо понимать, за упокой
Души тамбовской бабки. Все, конечно,
Записывалось на видак...

Ну, ладно, у меня дальше не все пока решено, – переходил Бурлак на вынужденную прозу, – не было времени доработать, а тут узнал, что можно письмо переслать. Моя глупость была в честной попытке врубиться, понять. Не может же это быть просто обманом, фокусом? Змею же он не приготовил заранее? Больше всего меня озадачивали зрители. Оглядываюсь: никто не смеется, объяснений не требует. Серьезные, как будто все что-то понимают, я один таращусь, как идиот. То ли они уже ко всему приучены, то ли просто вежливые. Никому не хочется отставать от времени. Словом, когда мы сели, как было упомянуто в начале поэмы, выпивать в тамошней траттории, я стал все-таки Рафа допрашивать: пусть объяснит хоть мне, что это было, что он старался выразить? Ну, дальше надо опять стихами.

Искусство, он сказал, необъяснимо.
Художник мыслит в творческом процессе.
Звук, запах, кровь, змея, все это вместе
Рождает нечто выше наших слов.
Слова потом находит толкователь,

Пусть не всегда впопад. Конечно, каждый
Довольствуется тем, на что способен.
Соединится все не в наших сферах,
И след, который ты оставил кровью,
Определяет жизненный твой путь...

Нет, все-таки жаль тратить место на дальнейшую лабуду.
Я, наверно, вообще это все просто сокращу. Главное, как передать чувство, что меня держат совсем за лоха, которого можно дурить. Вино было местное, молодое, не особенно крепкое, но вы меня знаете, можете представить, как я могу от обиды сорваться. Пустил ему, в общем, кровь из носа.

Ладно, рассказывать все это я вам начал ради концовки. Тоже надо будет еще подработать, но пока – вот она:

Я снова встретил Рафаэля в Кельне.
Он сам меня окликнул. Я бы
Его мог просто не узнать. Бородку,
Когда-то поросль дикую, он не обрил,
А обработал: стриженный газон.
В зубах гаванская сигара, дорогая,
Весь пахнет состоявшейся удачей.
Немногим, право, так же повезет.
Так в лотерее шарики бегут
По разветвляющимся желобкам, дорожкам.
Как угадать, где оторвется приз,
Направить, повлиять, пройти, где надо?
А он сумел. В Америке, зимою,
На чьей-то территории упал.
Был сильный гололед, он поскользнулся,
Сломал одновременно руку, ногу.
Владелец местности, миллионер,
Не позаботился, как полагалось,
Чтоб здесь счищали лед. Нашелся адвокат
Неглупый, тертый, сразу научил,
Как обратиться в суд. И суд постановил
В порядке возмещения ущерба
Физического и иного уплатить
Счастливцу Рафаэлю двести тысяч
Американских долларов. Возможно

Он малость мне приврал. Но ведь на самом деле
Хватило этих денег для начала,
Чтобы открыть успешную торговлю
Предметами домашней обстановки.
И бизнес стал расти, как на дрожжах.
Раф перешел на антиквариат.
Вот где открылся подлинный талант,

(Черт, нечаянно получилось в рифму, – приписал на полях от руки Игорь), –

Где пригодилось имя Рафаэль:
Сеть магазинов под таким названием.
Он покупает что-то в Старом Свете,
Переправляет в Новый. Мы сидели
Теперь в шикарном ресторане. Пили
Вино, потом коньяк. Я не запомнил
Ни вкуса, ни названия. Голова
Не от питья шла крутом, от другого:
От разговора. Он мне объяснял,
Что имя может быть предназначеньем,
Что надо правильно его понять,
Искать уверенно свою дорогу,
Угадывать по знакам, по намекам,
По напряженности магнитных линий.
Случайность – только видимость. Иди,
Не слушая насмешек, без оглядки
На критику, не требуя признанья.
Неплохо быть загадкой для других.
«Ты должен оставаться сам собой, –
Учил он, – но меняться непременно.
Мы проживаем в жизни много жизней,
Меняем жен – нельзя же все с одной.
Но Рафаэль остался Рафаэлем.
Я друг тебе, и я могу помочь...»
(Мы оба уже малость перебрали).
Я слушал, понемногу закипая.
Да что же это? – думал я. О чем он?
Где логика? Где закономерность?
Я руку в Питере ломал два раза –

И что? Отсиживался в отделение
Милиции. Скрипел зубами
От боли. А второй-то раз
Еще похуже было: кости
Неправильно потом срослись под гипсом,
Пришлось опять ломать. И это все?
Философ,
Ответь мне: если разный результат
Не объясняет ничего в причине,
То что же значит угадать дорогу?
И что это такое: изменяться,
Но оставаться все-таки собой?
И есть ли
Какой-то смысл во всех обманах жизни?

Ну вот, – продолжал Бурлак снова прозой, – за поэзию, как у нас кто-то когда-то сказал, не поручусь, но вас это, возможно, немного развеселит. Не скажу, чтобы Раф надо мной сознательно издевался, я больше издеваюсь над собой сам. Он ведь действительно предлагал мне хорошие деньги, чтобы я издал свою большую книгу, о которой когда-то мечтал. Здесь же это просто: я уже издал четыре небольших брошюры. И представьте себе: я отказался. Почему? – удивитесь вы. (Или не удивитесь?). Но об этом есть другие стихи.

Я заблудился в лабиринте книжного склада.
Катакомбы, бумажные залежи,
Засыхающий, каменеющий мусор.
Книги о пионерском детстве,
О лагерях, где не было онанизма,
И о других, где не было пыток.
Официальная литература,
Книги мертворожденные, никогда не жившие.
Их можно было презирать, не читая.
Кого не печатали – по определению лучше.
Искать казалось нужно там, по соседству.
Документы прожитых жизней,
Откровения диссидентов,
Поиски ускользающих слов,

Стоны, исповеди, объяснения в любви,
Сексуальные эксперименты,
Откровения о высших сферах.
Вот они все, на полу, на полках
Громоздятся, как в общем склепе,
Невостребованные – навсегда ли?
Вместе все каменеют, ждут будущего,
Когда окажутся ископаемыми памятниками
Малопонятной, странной культуры.
Антиквариат для любителей.
Но если среди этих слоев, отложений,
Затерялись драгоценности подлинные,
не прочитанные никем,
Кроме наборщиков?.. Впрочем, о чем я?
Теперь и наборщик не нужен. Сам автор
Себя и печатает, и читает. Передает
Прямо в сеть – в никуда. Вот и все.
Где-то здесь затерялись и мои листки,
Слиплись – не расслоишь, и зачем?
Я не смог их найти. Заблудился.
Вышел, щурясь. На улице солнце,
Рядом лает на кого-то собака.
В любой стране лай кажется тебе понятным,
Как возгласы играющих детей, их считалки,
их ссоры.

Сейчас он звучал чужеродно, враждебно.
Оглянулся – и увидал, на кого она.
Медвежонок в потешном наряде,
В коротеньком русском сарафане
Поднялся на задние лапы
Возле циркового фургона,
Передние выставил беззащитно –
Такой милый, такой свой, понятный,
Взгляд такой испуганный, детский.
Подступило внезапно к горлу,
(Был, надо подчеркнуть, вполне трезвый),
Слезы потекли у обоих.
Захотелось обнять, расцеловать мохнатую морду.
Вот он, настоящий перформанс.
Так и я, бывало, пел в русском кафе

(А, отметил Зимин, действительно, значит, подрабатывал и этим).

«Задержись, оглянись снова:
Много ли вокруг изменилось?
Придорожные пейзажи, строения,
Стены очередного временного жилья
Обшарпаны, как и прежде.
Флюгер – не петушок, а куриная тушка
Вертится над металлической сковородкой.
На безголовой шее – белая корона.
Жизнь, как и прежде, на перекрестке ветров.
Обязательств все меньше, честолюбия тоже,
Угрызений совести никаких.
Вроде бы не прибавилось неудобств,
Наоборот, все по фигуре, по мерке,
Из хорошего, право же, материала.
Что же вдруг стало не так? Не поймешь,
Жмет ли под мышкой, в паху ли трет?
Дело не в сменной одежке – в шкуре.

Пожалуй, не буду вас больше обременять, – заканчивал Бурлак. Не более чем попытка выразить очередное настроение. Считайте это меланхолическим этапом в творчестве. Мне вдруг вспомнилось, как мы говорили о вас с вашей женой. Вы умеете сопротивляться обстоятельствам, говорил я (это о вас), потому и продолжаете писать. Но вам проще держаться, чем многим другим – при такой-то поддержке (это о ней). Она усмехалась – вы знаете эту ее усмешку (у вас обоих была похожая). Она могла выглядеть тонкой, хрупкой, но казалась на самом деле для вас опорой. Какой-то симбиоз морского цветка – я тогда еще это ей говорил – и рака-отшельника.

Не знаю даже, вправе ли я вас о таких вещах спрашивать? Но в прошлом письме я передавал привет вашей супруге. И вот до меня дошло, что она теперь тоже в Америке? Не представляю. То есть, не представляю, что вы остались. Жен-

щина считается по природе более консервативной, оседлой – хранительница устоев. Менять жизнь склонны скорее мужчины. Ваша семья, ваш дом казались чем-то особенным...»

Зимин пробежал остаток письма невидящим, отвлеченным взглядом – и отложил. Тяжелевшая все ощутимей тварь наваливалась на сердце, и как было ее согнать, как от нее освободиться?

4

Самолюбие долго мешало ему признать, чем на самом деле оказался для него уход жены. Заноза, которую старался не замечать, которую предпочел бы считать просто не существующей, становилась со временем все чувствительней – сам начинал то и дело это место расчесывать.

Казалось, ты к этому был готов, сам этого хотел, примеривал в уме неизбежный рано или поздно разговор, тяготился лишь сомнениями: как такое сказать? Когда начинают все чаще повторяться тягостные изматывающие объяснения, чувствуешь, как становитесь все более чужими – нельзя себя, наконец, не спросить: что вас продолжает держать вместе? Житейская привычка, надежда обойтись без перемен и сопутствующих хлопот, утасающие воспоминания? И еще мысль о сыне? О да, это конечно! А главное, может – нежелание признавать неудачу, которая должна была обесценить, сделать сомнительным, развеять, как самообман, то, на чем держалась прежняя жизнь.

А она взяла и сказала сама. Можно было ощутить даже облегчение. Не был ли он уязвлен тем, что она его просто опередила? Когда оказывается брошенной стареющая женщина – это более в порядке вещей, что ли? Обычное, понятное дело. А тут – обидно и несправедливо. Как же такое случилось с тобой? С другими такого не происходит. А если происходит, то совсем не то. Потому что это вообще не ты. На других можно смотреть с усмешкой понимающего, сочувствующего превосходства...

Нет, у него хватало чувства юмора, чтобы оценить именно заурядность своей истории. Решение Алины уехать сделало развод лишь неизбежным, не более, оно только выглядело причиной. Как будто, согласись он сразу последовать за ней, они так бы и продолжали жить, как жили, только не здесь. Восторженные письма, уже начинавшие к ней приходить от знакомых из-за границы, Алина читала с обычной своей усмешечкой, как бы нехотя показывала мужу красочные фотографии на фоне новоприобретенных (конечно, в рассрочку, это она понимала) американских коттеджей, сияющих автомобилей, впечатляющей обстановки – картинки из зазывных рекламных проспектов. Криминалисты хорошо знают, заметила как-то: когда человек рассказывает о себе слишком много, слишком охотно, это может быть способом скрыть какую-то настоящую правду. Особенно от самого себя. Умная женщина. Но стоило самому Зимину безобидно сострить по поводу очередной сверхоснащенной кухни – в ответ он вдруг получал совершенно неожиданную отповедь. Как будто, со своей мужской психологией, своей профессиональной отстраненностью он оставлял ей выносить все тяготы чудовищного здешнего быта, разменивать жизнь на стояние в очередях, терпеть институтские интриги, высиживать бессмысленные собрания, выслушивать слова, от которых заранее тошнило, поступаться достоинством ради паршивого, черт побери, заработка (который, между прочим, поддерживал всю семью) – он, имевший возможность удалиться в свой, для себя же созданный, возвышенный мир, уклоняться от повседневной пошлости, суеты, карьерных искушений, и при этом гордиться, что не пачкает рук, не шевельнет даже пальцем, чтобы улучшить, изменить, покончить к чертовой матери с этой жизнью, не для себя – еще бы! он для себя, для своего духовного самоосуществления, самовыражения, черт знает чего может находить материал в так называемых страданиях, художественная личность, что говорить – но хотя бы для тех, кто с ним связан и на которых ему наплевать, их проблемы для него не существуют...

Каталог общих мест. Вслух такое можно было выпалить лишь в состоянии крайней вымотанности, раздражения, кото-

рого потом обоим приходилось стыдиться. Ответ мог состоять тоже не более чем из общих мест. Невозможность переиграть заново жизнь, привязанность к языку, все такое... известные малозначащие слова. Зализывать нанесенные друг другу сгоряча раны до поры удавалось потом разве что в постели.

О, в постели они были близки друг другу не как всегда – казалось, как никогда. Но разделялись и ощущали – еще не осознав – что стали снова даже более чужими. Хитро же это придумано природой или кем-то еще: иллюзия недолгого слияния, проникновения, общего чувства – и вот исчерпано мгновение, отключилась, иссякла, исчезла соединявшая их непонятная сила. Отвалились, смотрят друг на друга два существа, обособленных, отдельных по тому же природному устройству. Состояние не менее загадочное, чем называемое любовью. Не просто внутри себя надо было искать объяснения.

Уезжать, по ее словам, нужно было прежде всего ради сына, Павлика, ради его будущего. Мальчик обнаруживал незаурядные способности в работе с компьютером, к которому приобщился вначале у сослуживцев Алины, они же его взяли обучать. В школе о компьютерах тогда и не заикались, купить его здесь, в стране, было попросту негде, даже если найти деньги, Зимин таких вещей не мог, не хотел понять...

Компьютер Павлику она купила сама уже после развода: привезли, наконец, коллеги из-за границы. До отъезда у нее против ожиданий дошло не сразу. Двухкомнатная квартира, которую Зимин уступил им после размена, сам оказавшись в крохотной однокомнатной, служила Алине чем-то вроде промежуточной камеры для выравнивания давления – перед дальнейшим, окончательным переходом. Кто-то не обозначенный, лишь подразумевавшийся за горизонтом, должен был сперва обосноваться там, подготовить почву, она пока пользовалась отсрочкой, чтобы совершенствовать свой и без того прекрасный английский.

Уязвил ли его хотя бы укол ревности? Из того же самолюбия он не позволял себе в этом даже признаться. Чувство, что ни говори, унижительное. Проще было подменять его раздра-

жением, чем-нибудь еще. Да и не было на поверхности повода. Возможность неизвестных Зимину отношений оставалась там же, за горизонтом его осведомленности, и знать ему об этом было незачем. Подружка, зачистившая к Алине в последние месяцы их совместной еще жизни, раз-другой подступала к нему с многозначительными намеками, он предпочел не вникать. Не захотел догадываться и потом, когда эта крупная, рыхлая, в стрекозиных очках интеллектуалка наведальась после развода к нему, чтобы все-таки просветить. Прямо-таки сияла плотоядным, восторженным предвкушением – какая ей помешались пожива? Он осадил ее с вежливым, тихим бешенством – бурлило под крышечкой. Не хотел ничего слышать. Проще, когда этот другой оставался бесплотной туманностью, вроде зевсова золотого дождя, что ли? Похоже, и впрямь именно золотого, материализовавшегося уже потом, за океаном. Проще было избавиться воображение от необходимости представлять ее с ним вместе реально, во плоти.

Наведываясь к Алине для встречи с сыном, он не испытывал никаких прежних чувств, вообще ничего. Она менялась, что говорить, не лучшим образом. Он отмечал это, увы, с малодостойным, чуть ли не мстительным удовлетворением: жалеть не о чем. Кожа на лице, на шее все более разношенная. Отчетливей проявлялись, темнели над верхней губой усики. Лицо всегда было немного кошачьим, странно было вспоминать, какими когда-то казались милыми даже ее ужимки! Пальцы, удлинненные новыми лиловыми ногтями, не вызывали никаких воспоминаний – даже о прикосновении. Разочарованием этого нельзя было назвать – тоскливое недоумение: вот как оборачивается к тебе жизнь, вот чем она оказывается.

Укол болезненного унижения он ощутил, пожалуй, когда однажды пришла из Америки посылка. В картонной коробке было подсолнечное масло, пакет риса, пачка чаю, растворимого кофе, что-то там еще. По тем временам это было совсем не лишнее. Гуманитарная помощь от благотворительной организации, не от нее. Она всего лишь сообщила кому-то его адрес. Вышвыривать посылку было бессмысленно, пришлось проглотить.

Единственное письмо от нее подоспело вскоре. О своей жизни она писала, как о пребывании в стерильной хорошей больнице. Дела идут хорошо. Жаловаться не на что, ждешь, скорей бы прошел день. Не жалеи, что не уехал. Даже мне еще не совсем удалось привыкнуть. Представить здесь тебя я действительно не могу. Но тем более невозможно представить себе возвращение. Только вспомнишь эти стены, эту еду, одежду, рожи... бр-р... Говорят, у вас (буква «в» переправлена на «н» или наоборот?) что-то все-таки стало меняться. Но сколько еще придется навестывать! Павлик не может терять времени. Здесь то, что нужно ему: возможности, перспективы, цивилизация.

В этой грустной интонации угадывалась снисходительность. Человек, у которого все в абсолютном порядке, скорей склонен преувеличивать недостатки своего положения, чтобы не бередить у других комплексы неудачи и зависти. Свысока можно позволить себе тактичность.

У нее хватило чуткости (или расчетливой трезвости?) не прислать своей новой фотографии в новых декорациях, только фотографию сына. На ней Павлик был растолстевший, с пушком над верхней губой, в белой рубашке с бабочкой. Эта фотография вызвала чуть ли не тоскливый испуг, она грозила заслонить, отменить, убить совсем почти тающее, трепетное воспоминание о прелести, нежном прикосновении, о распахнутых, удивленных глазах.

Словно предчувствие этой окончательной, невозвратимой потери породило в нем всплеск лихорадочной, небывалой прежде энергии. Было несколько дней, когда у него сдвинулась с места работа над безнадежно застрявшей книгой «Времена жизни». Это было похоже на отчаянную попытку задержать, спасти от небытия мгновения оживавшего в памяти счастья. Мальчик в постели ворочался, опять не мог заснуть, наконец, звал встревоженно. Что тебе? – подбегал к нему. Поправить скомканное одеяло, принести еще раз чаю? «Па, – говорил он, – а почему не делают спичек с красными головками?» Вот что не давало ему заснуть (из-под одеяла дохнуло накопленным нежным теплом), вот что занимало его ум,

который должен был всему найти самостоятельное объяснение. Электричество течет, потому что оно жидкое, это он успел открыть сам. Но вот божья коровка сидит на крапиве – как ее не жалит? Уверенность, что все можно понять, всему можно научиться. Только вот со свистом не получалось никак. Ему лишь казалось, что он уже умеет: вытягивал трубочкой губы и тоненько пищал, милый. Пришлось объяснять ему, что это еще не свист. Мягкий ежик, пригревшийся подмышкой, смотрел на обоих бусинками добрых глаз. Лапа звали этого ежика, с ним можно было говорить, гуляя по своей, для других недоступной, непонятной стране...

Боже, сколько, оказывается, успело накопиться, залечь на дне, одного тона с ним, не сразу разглядишь, и вот проявлялось, всплывало, наполняясь мучительным соком! Какими неисчерпаемыми оказывались всего лишь минуты отхода ко сну! (Стряхнуть с теплой простыни сухие хлебные крошки, еще раз ощутить их ладонью). Мальчик долго не хотел засыпать один – надо было напомнить ему историю очередного совместного приключения. Без появления вездесущих хитрых врагов тоже нельзя было обойтись – «но я, конечно, не растерялся», – спешил вставить Павлик, чтобы ты не медлил, не стал растягивать добавочных пугающих испытаний. Конечно же, общими усилиями вы всех побеждали, связывали, оставалось только придумать им наказание, хотя разбойники всякий раз просили простить, обещали клятвенно, что больше не будут. Нет, этот милый человечек прощать отказывался, требовал скорей, сейчас же бросить их в ближайшую реку, хотя у тебя уже наготове были продолжения куда интереснее, сына ждали превосходные новые подвиги. Никогда истории не сочинялись так вдохновенно, сами собой, без черновиков – жаль, оставил их незаписанными. Но это в кино зрителей полагалось потомить достаточно долго, чтобы заполнить событиями время оплаченного сеанса. Мальчику пора было засыпать, надежно себя обезопасив. А сколько-то страниц спустя (на них «Времена жизни» забуксовали) он сам научился демонстрировать отцу, как можно лихо щелкать жутких, чудовищного вида врагов, нажимая клавишу компьютерной мышки, бестрепет-

но, разве что с азартом – и с досадой, если не нашел решения сразу. Бояться тут уже было нечего, и он успел вырасти, и страхи были надежно отгорожены от него плоскостью электронного дисплея, и карты восхитительных путешествий незачем было рисовать самому цветными фломастерами – вводи на выбор любую, уже приготовленную другими. Окно в комнате нового жилья было затенено шторой для удобства работы, глазеть на улицу было незачем, ничего более интересного там не увидишь...

Я тоскую не о сыне, с отчетливым испугом догадался однажды Зимин. Его нет сейчас рядом со мной – но того, с распахнутыми глазами, со способностью ощутить себя автомобилем, который не пьет – заправляется бензином – того нет нигде. И этой фотографии уже ничто не отменит. Только новая, еще более чужеющая. Конечно, каждому надо заранее готовиться, что в гости придут когда-нибудь бородатые сыновья, грудастые дочери, и не сумеешь сказать, кем теперь стал для них ты. Тебя прежнего тоже нет. Только умственная условность (и привычная готовность не удивляться этой условности) позволяет считать человека тем же самым, когда в нем успевают измениться все клетки, отшелушиться вместе с перхотью, нарасти ногти вместо обстриженных, новые волосы вместо выпавших. Ты хотел бы, чтоб сын оставался в состоянии, которое взрослому кажется гениальным? А он над твоим умилением усмехнется, как над глупостью (усмешка, наверно, такая же, как у Алины). Потому что повзрослел основательней, чем ты. Стал более отдельным, чем ты – вышел из-под изжившей себя опеки...

Подлинный удар обрушился с неожиданной стороны – вместе с корректурой книги, шестнадцать лет ожидавшейся публикации. Он вчитывался, с трудом проникая в смысл написанного им же самим, не узнавая, не понимая обычных слов. Это было похоже на психологический сбой, на симптом не вполне понятной болезни. Свидание в студенческом общезжитии, на двери одной из комнат привинчена маленькая эмалированная табличка «Не высовываться» с выскобленной первой буквой «ы» – приходилось напоминать себе, что ты сам

видел эту комнату и эту табличку... – но почему это должно было казаться герою забавным?.. нынешним читателям надо было, наверное, объяснить, дать, что ли, сноску: такие таблички привинчивались когда-то в трамваях под каждым окошком... Он понимал, он мог напомнить себе, какую женщину описывали эти слова, какие должны были выразить чувства, но сейчас из них ничего не возникало, все рассыпалось – не восстановить. Как будто невозможно оказывалось вернуться в пережитое однажды, уже заранее зная будущее. Да, именно оно, это знание, чудовищно разрушало непрочную иллюзорную ткань, лишало жизнь единства. Слова состояли из букв, чужие, они теперь ничего ни для кого не могли значить...

Вот что она сделала с общими воспоминаниями, вдруг ясно подумал он. Не забрала их с собой – просто оборвала соединение, отключила живой ток, который превращал все в осмысленное целое. Свалка никому ненужных обломков.

А если бы представить, что Алина (не дай Бог) просто вдруг умерла, подумал он тут же, что ты остался бы без нее не по ее желанию, а по воле слепой судьбы – что бы изменилось? О, то-то и оно, тогда было бы совсем другое: все осталось бы с тобой. Осталась бы способность что-то еще сохранить, запечатлеть. Способность что-то чувствовать, вспоминать...

После развода ему пришлось многое выбросить на помойку. Алина взяла с собой лишь немногие вещи, все старье, мебель, книги оставила Зимину. В одном из ящиков завалились три пачки его писем к ней, перевязанные бечевкой. Даже развязать их оказалось невыносимо, вид собственного прежнего почерка вызывал какую-то болезненную брезгливость. Поколебавшись, Зимин их все-таки оставил, но с тех пор больше до них не дотрагивался. Что-то похожее у него произошло с книгами. Разместить их все в однокомнатной квартире, и то оказалось проблемой. Сколько накупил когда-то впрок, радовался каждому приобретению, предвкушал, как будет смаковать когда-нибудь, высвободив время. Вдруг обнаружилось, что он потерял не просто желание – вообще способность что-либо читать. Не тянуло поднять руку, снять книгу с полки,

раскрыть. А если раскрывал – не удавалось читать больше мнуты-другой. В его ли состоянии было дело, в книгах ли?..

(«Жизнь после жизни», – пришли ему однажды на ум слова. Казалось, он их где-то прочел – привиделись на корешке какой-то из книг. Может, во сне?)

Он снова взял со стола письмо Бурлака. Стоило, право отдать должное этому кудлатому говоруну. В свое время его, пожалуй, недооценил. Впрочем, это самое время просто делает с каждым свое дело. Разнесло – а оказались в результате один от другого не так далеко, как хотела бы утверждать география. Он что-то понял раньше тебя. Признал. У тебя до сих пор все еще не хватает честности. Да, есть писания мертворожденные, никогда полноценно не жившие – но отличишь ли их со временем от устаревших, уже выдыхающихся, отмирающих? Выцветают, блекнут, прокисают злободневные страсти, житейские истории, уходящие в прошлое события. Много ли остается? Остается ли от жизни что-нибудь вообще, кроме гербария, коллекции, засушенных, запечатленных свидетельств? Щелкнул затвор, мгновение схвачено, очень удачно, точь-в-точь как было, даже пыльца на крыльях бабочки не повреждена, лепестки, листья не утеряти цвет. О воспоминаниях жалеть нечего, они такими точными не бывают. Удержишь только то, что в альбоме. Что еще? Книги, труды жизни? Ну, перестань себя, наконец, обманывать. Хочешь или не хочешь, все когда-нибудь придется признать. Только в возрасте, когда спохватываться уже поздно – ничего не изменишь.

Вот в чем было, наверно, подлинное разочарование Алины, вернулся Зимин все к тому же. Она, может, не говорила этого прямо только из жалости, Но и без слов нетрудно было уловить.

Перед глазами опять возникла ее усмешка. Ты даже не знаешь, как безнадежно, как убого отстал, говорила она. Каким неинтересным стало для других главное, что придавало тебе цену. Это называется жизненным поражением, не так ли?..

Хуже могло быть только обвинение в импотенции. Ну, по этой-то части как раз было пока в порядке. Плоть – радуйся

этому или наоборот – о себе продолжала напоминать. И нельзя было ее не ублажать, не удовлетворять настойчивых требований. Как будто всего лишь часть твоего же тела вела себя, как хозяин, навязывала, направляла мысли. Скулила: да много ли мне надо? Попробуй не уступи – замучает.

5

За это время успело возникнуть несколько разрозненных эпизодов, ни один нельзя было даже назвать романом. Имена, и те потом вспоминались не без усилия. Лишь в последние года три образовалось нечто вроде постоянной связи. Случилось заглянуть однажды в ближнюю районную библиотеку, хотел взять на дом журналы. Они оказались только в читальном зале, выносить книги оттуда правилами не позволялось. Решил все-таки подступиться с разговором к библиотекарше, приготовился пустить в ход все свое обаяние, которое, увы, не мог считать сильной своей стороной. Та не просто легко согласилась – рассеялась улыбкой. Щербинка между верхними резцами, круглое лицо, гладкая, с прямым пробором, прическа. Лет тридцати пяти. Щеки покрылись румянцем. До него уже потом дошло: она знала его имя, читала в одном из журналов. Когда он пришел через два дня возвращать взятое, нашлось, о чем поговорить. Читальный зал был пуст, они вышли после работы вместе. Зимин увидел, что у нее тяжелая сумка, перехватил. В сумке была пишущая машинка, полновесная «Оптимма». Знакомая старушка одалживала ее для работы, вернула за ненадобностью. Машинка давала когда-то заработок и самой Нине, теперь все обзаводились компьютерами, редакции предпочитали дискеты и распечатки. Авторов же прогресс лишил первых, нередко надолго единственных, заинтересованных, благодарных читательниц. Тоже оказалась общая тема. Он помог донести сумку до дома, не отказался от приглашения зайти. Приглашение было вполне бесхитрым, словно нечаянным, она, пожалуй, просто не ожидала, что он согласится. Чувствовалось, как польщена честью.

Ну, дальнейшее получилось уже как-то само собой, по привычной, почти вынужденной инерции. Сработало не столько желание, сколько сознание: пора уже было, надо, слишком долго оставался без бабы, и вот подворачивался случай, почему не сейчас?.. Как-то оказалось даже слишком просто. Не понадобилось преодолевать ритуального, инстинктивного, поощряющего женского кокетства. Попытку обнять, перешедшую потом в расстегивание неудобных пуговиц сзади она приняла покорно, без сопротивления, только вначале дрожала, как от озноба. «Если вы считаете, что так надо», – говорило все ее поведение. За первоначальную, увы, неудачу стыдиться тоже особенно не пришлось – она отнесла ее за свой счет, понадобилось утешать ее. Было время оправиться, подступиться снова. Так потом и пошло.

Что было тут хорошо – удобство и спокойствие постоянства. Сознание, что к ней можно придти, когда понадобится. Встречались только тут, на ее территории. Недалеко от собственного жилья и в то же время на расстоянии безопасном – не наткнешься на знакомых соседей. Она ему даже никогда не звонила по телефону, он ей номера не сказал, и она не спрашивала. (Потом уже сообразил, что в библиотечном формуляре все данные были).

В маленькой комнате ее всегда почему-то держался запах непросохшей влажной уборки, с кухни добавлялся иногда запах теплого теста, пресного, даже когда пеклась сдоба. Она любила угостить его непокупным. Попивали вечерами чаек – ничего покрепче при ней не стоило себе позволять. То есть она бы стерпела, но это лучше уж было делать дома. На подоконнике в горшке хилое болезненное растение, занавеси на окнах в мелкий цветочек. Пишущая машинка громоздилась на старинном комодe – ископаемое на ископаемом. Как и мои страницы, отстуканные на такой машинке, подумал однажды Зимин. В каком-то смысле нашел пару подстать. Он, право же, отходил душой в этом однокомнатном укромном жилище.

У нее самой дома книг было мало, но она ведь могла брать на службе. Первоначальная возможность разговоров о литературе оказалась, однако, обманчивой. Читательница она, конеч-

но, была из усердных и у него читала все, что могла. Хотя однажды честно призналась, что кое-что кажется ей слишком сложным. Уважения к нему это лишь прибавляло, она и в разговоре не сразу даже сумела перейти на «ты», сбивалась то и дело.

Увы, Зимину это лишь давало повод усомниться, правильно ли он понимал себя сам. Как-то он принес ей почитать страницы из книги, над которой тогда со скрипом работал; потом об этом жалел. Она при чтении вдруг расплакалась, он этого не ожидал. Тронул ее, оказывается, эпизод, который он считал скорей забавным: герой-рассказчик оказывается свидетелем рекордно быстрой помолвки. Предприимчивый водитель такси подсаживает к нему по пути еще двух пассажиров, сначала мужчину, потом женщину. Мужчина оказался из разговорчивых, стал тут же рассказывать, что едет по обменным делам, после развода приходится искать квартиру, да и жену бы надо найти. Мне ведь какую надо? – продолжал он, когда рядом с ним на заднем сиденье оказалась еще и попутчица. Чтобы хозяйство вела, готовила. Не из нынешних, которым лишь бы кино да танцульки. И женщина вдруг откликнулась: а зачем вам искать? Я тоже ищу мужчину солидного. Работаю в швейном ателье, у меня квартира двухкомнатная. Тут же оживились, стали записывать адреса, телефоны друг друга. Куплю завтра же бутылочку коньяка, приду, говорит мужчина. Да зачем, говорит, коньяк, так приходите. И водитель, развеселясь, уже предлагает себя в свидетели, когда будут расписываться, и оба приглашают его с готовностью, а заодно и рассказчика – ничуть не сомневаясь, что все уже решено. Минут за пятнадцать совершилось, не больше, и не мимолетное молодое соприкосновение – всерьез. Рассказчик лишь завистливо посмеивается над простотой, ему самому недоступной.

Нина иронии не заметила совершенно.

– Здесь такая доброта, все так трогательно, – объяснила она, вытирая глаза и сморкаясь. – Вы так умеете несколькими штрихами... как Чехов говорил. Когда этот мужчина сказал про коньяк и сам смутился. И она такая понятная, милая.

И этот бедный человек на переднем сиденье: как он чувствует, не оборачиваясь, дыхание тепла за спиной, и угадывает прикосновение рук, сначала нечаянное. Это ведь судьба, да? Как бывает у людей, у нас у всех. Вы... ты так умеешь понимать, выразить. Я с первой встречи почувствовала... и еще до нее. Это так близко...

Вот тебе и на, оторопел на мгновение Зимин. У нас, то есть, так же? Ну, допустим, хронометраж другой, не так быстро... и она меня раньше читала. Но я-то имел в виду совсем другое... как же ей объяснить, что? Иные книги читать – все равно что послушаться историй, посидев с соседками на скамье перед подъездом – ей, что ли, нравилось у меня именно это?.. Он назвал имя-другое популярных писательниц – она откликнулась с восхищением. Не только, значит, им восхищалась, этими, наверное, даже больше. Но это же невысокий уровень, иногда просто пошлость, неужели ты не чувствуешь? – не удержался он. Зачем было так говорить? Она плакала, он стыдил себя. Не хватало еще ревновать к более удачливым литературным соперникам.

Эпизод он потом вычеркнул – почему-то сам на себя разозлился. И новых страниц больше ей не показывал. Отчасти потому, что она могла бы там кое-что узнать. Пресный запах, волосы гладкие, как будто намазанные постным маслом. Не объясняться же, по какому праву берешь, у кого случилось, без спроса. Свое тоже выкладываешь на обозрение, даже больше, чем хотел бы. Пусть не всегда прямо, через литературных посредников...

Поводов упрекать себя за беспричинную раздраженность хватало. Как-то он с ненужной резкостью оборвал ее попытку расспросить о сыне. Как будто не хотелось чьего-то еще прикосновения к этой теме?.. До него, тугодума, не сразу дошло, почему она совсем не заботилась предохраняться. Надеюсь, наверное, забеременеть. Хотя ведь и тогда все равно ни на что бы не стала претендовать, нет. Поняв, что, видно, уже не сможет, сникла. (Винить, как всегда, могла только себя, у него ведь сын получился). Само же это занятие ее не особенно интере-

совало, о наслаждении тут не было речи. Она просто не отказывала.

Никогда еще эта область человеческих отношений не представлялась Зимину такой жалкой и грустной. Необходимая процедура, не более. От других отличная больше всего тем, что для нее нужен другой человек, вокруг этого и возникло то, что прежде казалось жизнью. Когда способность пропадает раньше желания, тоже не радость. Но если способность продолжает как будто насиловать без желания? Когда женская нагота вызывает не больше чувств, чем вид волос подмышкой? Когда правдивей прочих слов звучат термины медицинские? Когда нужно бывает закрывать глаза, чтобы вызвать что-то вроде умственного воспоминания: как это было когда-то? – осознавая с невольным раздражением, что это Алина продолжала сохранять над ним власть. Было вот так, вот так сделай – и женщина поворачивалась покорно. Что еще оставалось от воспоминаний? Танцы под притушенный свет, обжигание у вешалки, поиск не занятой другими комнаты, гостиничное знакомство, разбросанная на полу одежда. Молодая накладка на рыхлом белом плече старухи...

Не в библиотекарше было дело, неприязнь возникала к себе самому. Менялся, видно, не в лучшую сторону. Сумел стать по-своему практичным. Устроился недорого и удобно. И не должен даже имитировать чувства, подыскивать слова. Все прошлые слова начинали отдавать фальшью.

Затяжные неудачи в работе делали его тем более неприятным. Раздражение могла вызвать любая мелочь, вроде этого дурацкого цветка. Цветок ей оставила соседка, уходя надолго в больницу, попросила за ним ухаживать. Так и не вернулась. Растение было хилым, болезненным, названия его Нина не знала, как не знают породы дворняжки или подобранной кошки. Подобрала – и ухаживает. Несколько раз она порывалась показать Зимину, какой проглянул новый отросток, как цветок оживает. Он отмахивался равнодушно. А когда она стала жаловаться, что несколько листьев почему-то вдруг почернели, неужели это болезнь? – он глупо сорвался, наговорил ей,

чего вовсе не следовало. Она снова удаляла платочком влагу из глаз, потом, со звуком, из носа. Так он и оставил ее плачущей.

Сам тогда не знал, что уходит на сей раз надолго. Понадобилось уехать, чтоб прояснить для самого себя финал работы, лишь показавшейся завершенной. Попытка поднять непосильный литературный вес обернулась срывом нервным. Два поражения подряд – это и впрямь оказалось немного слишком. Некоторое время пришлось провести, увы, в медицинском учреждении. Нине он месяца два не звонил, в больницу она его навестить не пришла – просто потому, что ни о чем не знала. Раз он сам не сказал. Раз уж так сам приучил. Надо было это ценить. Он и пришел к ней с желанием о многом поговорить, даже заранее настроился похвалить цветок, справиться о его здоровье. Она приняла его, как всегда, ни о чем не стала спрашивать, пошла сразу хлопотать у газовой плиты, ставить чайник.

Лишь тогда он поискал глазами цветок. На подоконнике его не было. Вместо него там лежала книжка, он подошел посмотреть. «Община духовного единения» значилось на обложке. Оценить содержание он не успел, Нина вернулась с кухни.

– А где твой прекрасный цветок? – спросил он, вовсе не подразумевая насмешку.

– Его нет, – потупилась она. И добавила, снова подняв взгляд: – Он умер.

– А ты что, стала ходить в церковь? – показал он книгу.

Она мягко забрала ее из его рук.

– Это не церковь. Это община.

Прежний насмешливый тон на нее не действовал. Община ее наделила новой силой, новой уверенностью. Это не суеверие, это настоящее, – убежденно, не отводя взгляда, говорила она. Руководила общиной Мать, женщина с высшим техническим образованием. Она умела объяснить, показать истину простыми словами. Как на особого рода картинках, которых раньше, без современной техники сделать было нельзя.

– Смотришь на них – цветные пятна, неразбериха. Раньше, чтобы увидеть объемное изображение, нужны были специальные бинокляры или очки со стеклами разного цвета.

А тут надо просто настроить взгляд, и увидишь совсем неожиданно ясные, объемные фигуры. Это всего лишь пример, но так нужно учиться смотреть на жизнь, вот чему у нас учат...

А он увидел склеротические прожилки на щеках. Сквозь волосы просвечивает кожа. Щербинка не просто между передними резцами – все зубы стали реже.

– Не обижайся, я показала Матери твою книгу, она про нее спросила. Что напечатано, ведь можно показывать без разрешения. И знаешь, что она сказала? Что ты пишешь, не понимая своего одиночества. Это ограничивает способность воспринимать самые тонкие колебания. Как обособленный элемент, если он не в общем устройстве, может воспринимать только самые грубые, самые простые сигналы, но не скрытую музыку, так и ты. Может, я не так точно объясняю, ты бы послушал ее. Услышать по-настоящему можно, если только соединиться с другими, у нас этому учат. Мы ведь сами не умеем понять, отчего бывает это чувство покинутости. Я иногда тоже это чувствовала, только не могла выразить. Пришел бы, побыл среди других, таких же. Как это хорошо! Увидишь. Одному настроить душу, чтобы могла воспринимать, трудно. Есть целое учение, система. Это можно только со всеми...

6

Не слово его тогда зацепило, а то, как произнесла его эта новообращенная дура, и повторила потом еще раз. Так говорят вдруг познавшие истину с атеистами и беспартийными. Чуть ли не жалостливо: до тебя просто еще не дошло, раз ты не с нами. И говорила ведь, понимая, что он больше к ней не придет, сама, заранее это решила. Ей это, видно, стало уже не нужно. Она теперь может говорить об одиночестве снисходительно, с новой высоты, как взрослая. В тусовке ей все про это стало понятно. И отвечать ей всерьез бесполезно, бессмысленно. Он потом вдогонку, мысленно, кое-что пробовал ей сказать – оказалось, разобраться с некоторыми вещами самому было не так просто, как представлялось.

На листке, помнится, само собой стало однажды выстраиваться что-то вроде пунктира. (Привычный способ размышлять с пером в руке, рассеянный процесс – так механически рисуют рожицы на полях еще не начатой рукописи). Одиночество как заголовок. Одиночество мужчины и женщины... ну, это на самой поверхности, задерживаться не стоит, сразу увязнешь. Одиночество порознь, одиночество в общей постели. Одиночество возрастное. Ребенок пугается, когда его оставляют на полчаса одного, дети тоскуют, непонятые, среди взрослых, хочется объяснить молодым, как правильно, как нормально все было когда-то. Одиночество в одиночке и одиночество в толпе. (Похоже на цитату – откуда? Все можно заранее считать цитатой). Одиночество в чужой стране, среди чужой нации. Одиночество нежеланное, вынужденное, разрушительное и одиночество сознательное, когда принимаешь судьбу отщепенца, не захотевшего совпадать с другими. Одиночество художника... ну, опять же само собой разумеется. Опередел ли бедняга свое время, отстал ли, растерял, пережил былых почитателей. Тут же, конечно, мечта о башне из подходящего материала. Одиночество на вершине, как красиво выразился один. Высокомерие одиночества. Соблазн одиночества. Ну, и так далее...

Зимин довел пунктир до строки об одиночестве столпников и вовремя на этом остановился. Не только потому, что представить себе столь крайнюю обособленность он был готов еще меньше, чем размышлять об одиночестве отшельническом. Помешала (или уберегла) невольная добросовестность.

Связной работой заняться тогда он был просто не в состоянии, опустевшее время занимал чтением. Не то чтобы с осознанным намерением покопаться, поискать нужное. Раскрывал иногда книгу просто так, начинал листать – то же слово само вдруг лезло на глаза, предупредительно даже выделенное курсивом.

«Робинзоны встречаются не только на необитаемых островах, – читал он, – но и в самых многочисленных городах... *Последнее слово философии – одиночество*». Последнее слово – не бо-

лее, не менее. Лев Шестов, беспокойный, въедливый возмутитель умов, пришел однажды к этому, как к озарению.

Можно было себе представить, как, записав свое озарение в тетрадку, он отправлялся делать на животрепещущую тему доклад в какое-нибудь тогдашнее философское общество. Чтобы обсудить, скрестить, если надо, копыя, с близкими по духу, но воинственными оппонентами. Скажем, с Бердяевым. И обнаруживал (наверно, не без досады), что спор-то всерьез невозможен. «Тема одиночества – основная», – эту арию, надо же, почти в унисон, готов был тут же пропеть сам Бердяев.

Зимин иной раз с усмешкой покачивал головой, пополняя для себя коллекцию выписок. Известное дело: стоит настроиться на определенную мысль, начинаешь обнаруживать нужное то тут, то там. Так можно идти по лесу, не замечая под ногами грибов, но едва сосредоточишь на них взгляд, они появляются сами, точно лезут из земли один за другим, предлагают себя. И не ищешь, а корзина, глядишь, наполняется, как наполнялась специально заведенная для цитат папка.

Сейчас он снова сидел, перебирая в этой папке листки. Занятно было проследить: каждый словно впервые осознавал именно свое, личное одиночество – как нечто особенное, требующее объяснения – мало заботясь о том, сколько на эту тему уже наговорено другими. Тяготило противоречие не с другими – внутри самого себя.

«Я наиболее чувствовал свое одиночество именно в обществе, в общении с людьми», – записывал тот же Бердяев, возвратясь, допустим, с того самого философского собрания к себе в кабинет. – «Это одиночество мне очень мучительно, – продолжал он искать разрешение. – Иногда же одиночество радовало, как возвращение из чужого мира в свой родной мир...»

Зимину вдруг вспомнился тот зануда с цитатой. Тоже, наверно, не прочь был поговорить, познакомиться. И тоже, кажется, не чужой. Не получилось. Который раз срабатывает невольный автоматизм. Кладешь телефонную трубку, не удовлетворенный, досадуешь на себя. И договариваешь потом вдогонку – уже сам с собой. А если еще захочется позвонить друг

другу одновременно – у каждого окажется занято. Все время занято. Его ты вряд ли еще услышишь. Разве что прочтешь. Вроде бы могли пройти по одной дорожке, оказаться у той же двери. Нет, уединяется каждый на свой шесток.

Как-то, помнится, возникла попутная идея: поразмышлять о невстречах писателей. Меньше всего друг к другу тянуло, кажется, сравнимых по уровню. Достоевский с Толстым жили рядом – за долгие годы ухитрились ни разу не встретиться. И нетрудно, пожалуй, понять, почему. Это у нас сослуживцы по литературному цеху заселяли когда-то целые дома, целые кварталы, дачные поселки, общались друг с другом по соседству, семьями, в домах творчества, на собраниях отчетных, перевыборных, кооперативных... Ну, в эту сторону Зимину заглядывать не захотелось, эта область была ему незнакома.

Зато поневоле тут же вспоминалось другое: сожительство коммунальных квартир, где кухонный и семейный быт выставлен нараспашку. Совокупления без возможности уединиться. Быт армейский и лагерный, где интимные отправления совершаются под надзором, прилюдно... О, достаточно о таком подумать, чтобы одиночество сразу представилось чем-то поистине желанным, наиболее, если угодно, естественным для человеческого существа. Это муравьи, говорят, в одиночестве не выживают, не приспособлены биологически. Человеку одиночества может еще как не хватать! Нормальное, плодотворное состояние, необходимый период, фаза в переменчивой жизни. Для существ, по природе отдельных, слияние с другими можно считать лишь временным, относительным, иллюзорным; рано или поздно мы в этом убеждаемся. Чем нас становится больше, тем тягостней соприкоснуться локтями, плечами в отгороженных поневоле местах. И наоборот, одиночество начинает тяготить, когда уже не можешь выносить сам себя. Самые невыносимые люди – не способные оставаться наедине с собой. От себя больше всего хочется спрятаться. Единица – кому она нужна? (Учили такие стихи в школе). Хочется понятной, простой, загруженной жизни, которая отвлечет, не оставит времени, чтобы затосковать, испугаться...

Как это он мне продиктовал? – Зимин еще раз заглянул в листок, оставленный наверху. «Общение означает утрату человека перед лицом самого себя». Вот, вот. Вариация на ту же тему. Кое-кто высказывался и покруче... где это у меня? Вот: «Мы дружим из трусости». Самюэль Беккет. Соглашайся, не соглашайся – тут мироощущение, органичное именно для этого человека, подтвержденное, обеспеченное конкретной жизнью. Нобелевский лауреат, который перед смертью переселился в убогое жилье, до конца уподобляясь своим героям, взаправду им родственник. Это не теоретизирование специалистов.

«Склонность к одиночеству детерминирована биологически, она связана с интровертностью, со способностью к смущению...» Стоило ли выписывать такое? В свое время у нас была недоступна просветительская литература по сексу. Лишь потом запоздало познакомился, выяснил, как все называлось. Не там искал слова для своего, единственного, чудесного. И что? Велико ли приобретение? Благо, что общие места никому в отдельности все-таки не подходят. Одиночество для всех значит слишком разное. Как любовь. Как свобода. Приходится только употреблять общее слово, в этом, может, источник ошибок. Французское *solitaire* перешло в разные языки, оно переводится как одинокий, уединенный, единственный, у кого-то еще: отшельник. На тех же языках, включая наш, русский, солитер – крупный бриллиант, вставленный в украшение отдельно, без других камней. Не угодно ли пофилософствовать? Но тот же солитер – это почему-то и разновидность глистов, ленточный червь.

Н-да... Пробиешь задуматься об очевидном, начинаешь разбирать по косточкам, углубляться, докапываться – лишь рассыпная куча разрастается вокруг ямы, собирай заново.

«Одиночество как положение исправлению доступно, но как состояние это – болезнь неизлечимая», – вытаскивал наугад бумажку Зимин. Чем хороши бывают писатели – не претендуют на общие объяснения. Набокову не возразишь. Прочтется на эпиграф к какому-нибудь сюжету. Он сам в этих делах знал толк, других на свою обособленную вершину не до-

пускал, на ней проще было себя ощущать единственным. Дело за сюжетом. Вздывается новый, неповторимый пузырь, интересный особыми чертами, временной, частной историей, в городском жилье, в горах, где хорошо ловятся бабочки... ну, это у кого что...

«Одиночество есть человек в квадрате». Вот и все. Бродского тем более не оспоришь, даже не прокомментируешь. Вокруг поэтической строки не выстроишь объясняющих конструкций – исчезнет то ли смысл, то ли звук. Можно только затеять танец под что-то, померещившееся, как музыка. Как надежда выразить не мысль о чем-то – мысль чем-то. Может быть тем, что в конце концов и окажется жизнью. Не так уж много, но все-таки. Для этого тоже надо еще постараться. И стараешься, пропускаешь жизнь через себя, пробуешь в ней что-то понять, переработать ее вещество в вещество бумажное – считай это своим способом в ней держаться. Может, и другим пригодится. Беда, если честность не позволяет самому себе подыграть, обойтись промежуточным, поверхностным, свести по красивей концы с концами. Если чего и побоишься, так это смутить своей незавершенностью других – захочется напоследок уничтожить написанное, как попробовал это сделать Кафка.

7

Странно, почему не сразу пришло в голову задержаться на этом имени. Было время, когда Зимина потянуло перечитать Кафку – оказалось, он читал его опять впервые. И ведь не раз, помнится, проскальзывал глазами по этим строкам – однажды вдруг словно споткнулся.

«Значит ты знаешь свою цель?» – спрашивали кого-то. «Я же сказал: подальше отсюда – вот моя цель». Господи, это ведь было буквально, почти буквально то, над чем он думал тогда сам, но не мог выразить. Поверхность оказывалась видимостью, в понимание проваливался, барахтался, не находя дна, лишь с чувством: вот же оно, сейчас поймешь до конца...

Это было время, когда показалось возможным поставить точку в той самой работе, неосторожно, словно в насмешку названной «Приближение». И тут же пришлось отправиться вдогонку написанному – надо было что-то уточнить, перепроверить, разобраться с явным недоразумением – только добраться до уже известного места: ночью, в вагоне, на верхней полке, пропуская сквозь дремоту бессвязные, пьяные речи попутчиков, они толковали, кажется, о войне – какой? сколько их теперь! – не успеваешь понять, надо еще немного доехать, доплыть на катере, потом блуждать по бесконечным лабиринтам пустого, непонятного здания, и за каждым поворотом открывалось всегда не то, что уже был готов ожидать, как время спустя на обычной городской улице, когда было достаточно свернуть в переулок, чтобы оказаться в выгоревшем квартале, где кто-то кого-то преследовал, а попутно прихватывал тебя – и еще дальше, еще, совсем уж на грань безумия, не зная, что с тобой будет через минуту. Путешествие, где по мере приближения цель становится все менее достижимой.

Как было тогда не вспоминать про Кафку! Вот у кого хватало беспощадности к себе, чтобы различить за конструкциями условной реальности бездны, в которые заглянуть-то боязно, и не надо. Надеешься вначале не более чем на литературное приключение, а оно оборачивается потрясением жизненным. Переводишь дух, озираешься. Приблизился ли к чему? Ну, считай, все же приблизился, даже можешь заранее догадаться, к чему. Доберешься до конца рано ли, поздно ли. Как все прочие. Чего еще ожидал, на что надеялся? Привычные отношения распались, рассыпались – естественный процесс. Износились, трачены временем, как молью. Стоишь один. Понимать вроде стал больше, зато непонятного лишь прибавилось. Слова звучат по-прежнему, но смысл-то их, что они значат – можешь, наконец, объяснить?

Вот и теперь давно бы стоило задержаться на Кафке, разве можно его обойти? Классик, можно сказать, темы. Пиши диссертацию. Да их, наверно, уже нагромождена куча. Какого ни возьми персонажа – все мучаются неспособностью, невозможностью ощутить себя своими среди прочих, установить насто-

ящий контакт с другими. И возможен ли образ более предельного одиночества: насекомое, вызывающее брезгливость у родственников и прислуги? Отдаешь должное еще и готовности увидеть себя самого с таким поистине беспощадным юмором.

Но вот среди выписок на эту тему Кафки почему-то не оказалось совсем, Зимин только сейчас это заметил. Может быть, потому, что прямых высказываний об одиночестве в его прозе вспомнить просто не мог. Пропустил, если были. Они оседали скорей в том, где были собраны его дневники и письма. Их он когда-то не столько читал, сколько листал без особой охоты. Углубляться в личные обстоятельства этой болезненной, труднопонятной, не особенно близкой жизни как-то не возникало желания. Потому ли, что не тянуло заглядывать в чужие письма и дневники, словно в замочную скважину? Нет, к этому нас как раз давно приучили. Расходятся по миру самые интимные письма, опубликованные без ведома и согласия авторов – хорошо если после их смерти. Смаковать сплетни, семейные дразги, амурные приключения – самое милое дело. Но эти! После недолгих попыток чтение почему-то выталкивало...

Зимин снял том с полки, раскрыл. Захотелось припомнить, проверить давнее ощущение. На полях кое-где остались подчеркивания, он успел про них, как не раз бывало, забыть. И вот – сразу же наткнулся, запись 1921 года:

«Пограничную зону между одиночеством и общением я пересекал крайне редко, в ней я даже более прочно обосновывался, чем в самом одиночестве. Каким живым, прекрасным местом был по сравнению с этим остров Робинзона!»

Пожалуйста, присоединяй тут же к коллекции, если хочешь. Только что это добавит? Почти неотличимо от того же Шестова или Бердяева. Даже Робинзона упомянул. Хотя русских философов скорей всего не читал. У него было немало друзей, он с ними переписывался, встречался. Обсуждали все на свете, включая личные дела, любовные, брачные перипетии, помогали друг другу, посредничали – чего больше? Но тут же среди дневниковых записей: «Я запрюсь от всех и до

бесчувствия предамся одиночеству. Со всеми рассорюсь, ни с кем не буду разговаривать». Знакомая, в общем, история.

Что понять трудней, так это его болезненные романы с женщинами. Больше эпистолярные, на расстоянии, чем действительные. В жизни он почти без них обходился. Безвыходные, искаженные, ни на что не похожие метания – называть ли их любовными?

Толкователи находили в его письмах к Фелице Бауэр комментарий к роману «Процесс», прямо-таки биографический первоисточник. Так, наверно, оно и было. Переписывались, договорились с этой Фелицей о помолвке, потом помолвка оказалась расторгнута. Процедуру Кафка воспринял как судилище над собой. Преувеличение, скорей всего. Сам был хорош. Нервы этого человека всегда были перенапряжены, можно себе такое представить. Но какой процесс должен был совершиться в его душе, в мозгу, чтобы заурядная житейская история преобразилась в обобщение поистине потрясающее, беспощадное – и прежде всего опять к самому себе, смещающее обыденную логику так, что открывается раньше не очевидное, приходится заново осмысливать мир, собственную обычную жизнь? Много ли тут объяснят дневники и письма?

Бедняжка Фелица показалась Кафке похожей на горничную с лицом костистым, пустым. Описывается пугающий блеск ее золотых зубов. На любовь с первого взгляда не очень похоже. Но, отдалившись на расстояние, он начинает вдруг буквально бомбардировать ее письмами, отсылает иногда по два-три в день. Он добивается любви этой женщины – и делает как будто все, чтобы вызвать у нее неприязнь. Представляет себя в наихудшем свете, живописует свою невероятную худобу, постоянно жалуется на самочувствие. И при этом ему нужен, непременно нужен ответ.

Не менее удивительно, что она откликнулась. Любовь, конечно, дело известное, род болезни, взор затуманен, несомненного уродо можно увидеть в сиянии лучезарном. Тем более если писатель – гений, пусть даже пока непризнанный. Ну, творчеством его эта Фелица не особенно интересовалась, по-

нимала в нем мало, хвалила, к досаде Кафки, разных других, того явно не стоящих. (Даже он, значит, досадовал, надо же). Что же пересиливало реальность? Женщины, говорят, действительно к Кафке тянулись, вряд ли по-настоящему представляя, на что могут рассчитывать. Впору увидеть за этим, право же, какую-то магию.

А ему-то, ему зачем так нужны были эти письма? Словно в них материализовалась хотя бы на бумаге, подтверждалась возможность настоящих, обыденных, нужных ему человеческих отношений с невыдуманной, реальной женщиной, способной взаправду его любить.

«У тебя, Фелица, такая власть надо мной, преврати меня в человека, который способен на самое естественное». Звучит без сомнения искренне. Вот чего ему действительно не хватало. Нормальная, простая, спокойная человеческая жизнь могла бы сделать его более защищенным, избавила бы от многих мучений – но грозила (он знал и это) утратой чего-то другого. Чего-то, что приносило ему больше страданий, чем счастья, но без чего он, по своему внутреннему устройству, не мог бы представить себе жизнь.

«Перечень всего, что говорит „за“ и „против“ моей женьтибы», – это он записывает в дневнике. «За» сводится к единственному пункту: «Неспособность одному выносить жизнь... Союз с Ф. придаст мне сопротивляемости». Доводы «против» следуют один за другим: «Я много времени должен быть один. Все, что я сделал, только плод одиночества... Разговоры лишают мои мысли важности, серьезности, истинности... Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда больше не смогу быть один».

Боже мой, боже, да что же это было такое? Ему надо было вопреки всему сохранять свое одиночество, как мучительную свободу. Возможно ли было это соединить, совместить: потребность в человеческих связях и необходимость одиночества, жажду любви и болезненную неспособность к тому, что называется любовью у других? Нерешительность, мучительные метания, чувство постоянной вины перед всеми.

Литература, только литература позволяет тут хоть что-то понять. Нормальному человеку непросто представить, как из этих противоречий, поверх общедоступной логики, рождался, преображаясь, его несравненный мир, как напряженность повседневного самочувствия становилась накалом нечеловеческой творческой энергии. Две ночи спустя после своего первого письма Фелице он на одном дыхании пишет рассказ «Приговор», который всю жизнь особенно ценит. Спустя неделю написан «Кочегар», первые главы романа «Америка», за два следующих месяца – еще пять глав романа. А в промежутке между этими главами – рассказ «Превращение», и не только он. Наконец, уже после расторжения помолвки – тот самый «Процесс». Лихорадочная работа, невзирая на постоянные, мучительные головные боли, бессонницу, тошноту. Окончательный разрыв с Фелицей еще впереди – вот когда на время он замолкает. Следующий подъем, работа над другим гениальным романом, «Замок», проходит на фоне переписки уже с новой возлюбленной, Миленой Есенской.

«И ведь люблю я при этом вовсе не тебя, – прорывается в одном из его писем к Милене, – а нечто большее – мое дарованное тобой бытие». Не более не менее. Каково было такое писать женщине? Каково ей читать? Прекратила бы переписку тотчас. То ли женщины были подстать ему, то ли в этом поведении что-то для них было. Слишком просто увидеть в таком признании эгоизм самоудовлетворения. Какое тут удовлетворение! Мучился-то он опять не на шутку: все то же сознание невозможности, чувство вины. Опять и опять – едва ли не главное: «Не будет ли это за счет писания? Только не это, только не это!»

Литература, без нее концы с концами не соединить. Одиночество, требующее связи с миром. Ему была нужна не просто жизненная опора, но словно какая-то постоянная подпитка, источник энергии (называемой иногда, может быть, вдохновением), причем желательно на расстоянии. Одиночество может оказаться бесплодным, мертвящим, это он знал. Чтобы оно стало живым, творческим, нужен, стало быть, кто-то дру-

гой. Однако близкое соприкосновение с этим самым источником грозило вызвать, выражаясь тем же языком, помехи.

Снова, и в который раз: «Для моей работы я должен быть от всего отгорожен, даже не как отшельник, этого недостаточно, но как мертвец».

Приходится верить, что тут не преувеличение. Литература для него – это не профессия, даже не часть жизни, вот в чем дело. Это ее основа, ее условие, ее инструмент и материал. «У меня нет интереса к литературе, – пишет он еще Фелице в 1914 г., – литература – это я сам, это моя плоть и кровь, и быть другим я не могу».

Что-то в жизни, какие-то ее первоосновы могли для него соединиться лишь на глубине, в некоем другом измерении – назвать ли его трансцендентальным, метафизическим? И выходом в это другое измерение были для него именно написанные тексты.

«Тебе не надо выходить из дому, – вот что записал он однажды. – Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачения, она не может иначе"...

Ну-ка, ну-ка.., – неожиданно задержался на афоризме Зимин. Бурлак вроде толковал о чем-то похожем, разве нет? Насчет актинии, которая ждет на своем камне добычи. Новых жизненных впечатлений, да?..

Нет, если бы так просто, сказал он себе, подумав. Сиди и жди. Не более чем образ, который надо еще развернуть. Рассказать бы о том, чего только со мной за это время не произошло. Кафка свои обыденные, житейские перипетии оставлял в дневниках. Но дело не просто в них. Мир почему-то вползал в его комнату, как привидевшийся однажды зеленый, безногий, толстый дракон. Другим такое почему-то не является. Разве если совсем не упьешься. Но тогда и написать ничего не сумеешь. Впрочем, и дракон ничего особенного не объяснит. Визитер просто вид себе подыскал скорей забавный, чтобы сразу не испугать. Смотрит багровыми налитыми глазами, высовывает длинный язык, как набегавшаяся собака. Ну, чего

ты от меня ждешь? Что хочешь узнать? О чем расспросить? Может, не надо? Обходись пока тем, что доступно. Есть такое, чего до поры лучше не знать, догадываешься иногда? Жить дальше не сможешь и другим не расскажешь. Им это и не нужно. Только попробуй, рот заткнут, запрячут, куда подалее, закидают камнями. Ты для чего, скажут, был к своей службе приставлен? Подыскивать слова, создавать что-нибудь вроде форм, смысла – что удастся. Других это, в общем-то, не особенно колышет, у них нет времени и незачем, им надо делать дела, как у вас говорят, насущные. Ну? Чем ты все время еще не удовлетворен, куда тебя еще потянуло дальше? Заглянуть совсем уж куда не положено? В смелости тебе не откажешь, хотя посмотреть – такой subtilный тихоня. Сидишь, значит, не двигаешься? Ждешь еще вопросиков от меня? Но ведь догадываешься, чего это может стоить? Расслабься немного, хватит. Что все так напрягаться, сосредотачиваться? Как будто это для тебя и называется: жить...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Он уже собирался уходить, завершал у дверей ритуал рассеянного похлопывания по карманам: при себе ли ключи? что-то забыл еще?.. Наконец, вспомнил: надо было захватить сберкнижку, снять по пути деньги. Открыл ящик письменного стола, задержался в задумчивости. Чего-то еще не мог вспомнить...

Погода обещала быть теплой. Помедлив, он снял куртку, переложил нужное в нагрудный карман рубашки. Повертел в пальцах ручку – брать ли ее? Тогда еще какую-нибудь бумагу?..

Он, видимо, недоспал этой ночью – допоздна засиделся над Кафкой. Спросонок померещилась была мысль, она процарапывалась лапками насекомого из белой сморщенной оболочки, пыталась выпростаться – не успела, спряталась, замаскировалась. Может, удастся еще захватить, не спугнуть, записать сразу?..

Телефонный звонок вывел его из задумчивости, заставив от неожиданности вздрогнуть.

– Куда все пропали? – в голосе женщины звучала тревога. – Теперь совсем никого. Я как оглушенная, в ушах пустой воздух. Так тоже нельзя. Что я не так сделала? Не так сказала?

– Какой вы набираете номер? – спросил Зимин мягко, преодолевая порыв раздражения. В разговорах с такими

людьми нужно бывает найти правильный тон, а то ведь станет звонить опять и опять, не отделаешься.

– Номер? – переспросила она. – Я ничего не набирала. Никакого номера.

– Но вы второй раз попадаете ко мне. Я вам уже говорил, возможно, в какой-то цифре ошибка.

– Нет, что вы, не думайте, я никаких цифр не трогала. Меня предупреждали, я помню: если будет нужно, захочешь что-то сказать, спросить, нажми только вот эту кнопку, без цифр, с двумя кружочками. Соединится само, тебе ответят. Других, мне сказали, не нажимай, а то все сойдет. Я помню, я ничего больше не делала.

А, стало составляться в уме Зимина, аппарат с кнопкой памяти. Не старый, как у меня. Достаточно ее нажать – наберется, развернется сама собой последовательность единственно нужных цифр. Уже кем-то для тебя введенная, оставленная.

– Боюсь, вас соединили со мной по ошибке, – сказал он...

Как было объяснить чувство почти сразу возникшего вдруг сожаления? Пробеешь пересказать смысл, сгущенный в поэтической строке – выходит не то... а струна, не задетая, сама собой дрогнула, еще дрожит...

– Кому вы хотели звонить? Я не тот, кто вам нужен.

– Как не тот?

– Вы хоть знаете, с кем говорите? Кто я? Как меня зовут?

– Я должна это сказать?

– Не обязательно, – помедлив, отступил он. – Имя вам мало что скажет. Я тоже не знаю вашего.

– Почему вы так говорите?

– Но вы же мне себя не назвали...

Голос казался молодым, почти детским, доверчивым, но у женщины такой голос мог соединиться с любым возрастом. Одна, неизвестно где. Представились пустые белые стены. Без подробностей. Подробности способны лишь замутить, сплутнуть что-то возникавшее, трепетное, недолгое, невозможное...

– Разве надо и вам говорить? Меня столько раз спрашивали. И всегда оказывалось не то.

– Как это не то?

– Мне говорили: скажи настоящее, правильное имя. Ты ведь его знаешь, тебе его столько раз напоминали, даже написали, чтоб не забывала. Не надо выдумывать, сочинять неизвестно что из головы. Но почему я должна считать настоящим другое? Которое моим быть не может? Правда? Вы меня понимаете?

– А... – снова помедлил он. – Пожалуй. Я это, кажется, могу понять. У меня было что-то похожее.

– Правда?

– Ну, не то чтобы похожее... – (Он удивленно прислушивался сам к себе: что означало это желание продолжать разговор – так пока и неясно, с кем? С кем-то, возникшим в воображении.) – Я, знаете, как познакомился когда-то со своей женой? Случайно угадал ее имя. Заговорил с ней на скамейке в городском сквере. Она читала книгу, я подсел рядом. Обычное дело, но я и в молодости не особенно умел знакомиться. Как это: подойти, заговорить с незнакомкой, навязаться? Но тут просто решился. А я, говорю, знаю, как вас зовут. Не помню, ответила ли она что, посмотрела насмешливо. Ничего не стоило назвать наугад любое, разговор все равно как-нибудь можно было продолжить. Но я, представляете, угадал. Говорю: Аля. Это ее заинтриговало: откуда вы знаете? Оставалось только интриговать, сочинять дальше, было бы вдохновение. Если можно употребить такое слово. Мне самому за этим увиделось что-то неслучайное... Но зачем я это стал рассказывать? – наконец, спохватился Зимин.

– Ой, рассказывайте еще, пожалуйста. Вас так хорошо слушать, только говорите.

– А что дальше? Поженились, обычное дело. Правда, потом выяснилось, что она немного мне подыграла. По паспорту она была Александра. Шурочка, Саша. А подружки почему-то любили ее звать на французский манер, Алин. Но это было другое, мне не нравилось. И она приняла имя, которое дал ей я. Оно было для нас двоих. Пока мы жили вместе. А когда развелись, она вернула себе то, прежнее. Я как-то подумал: может, мы потому и оказались чужими, что были настроены

на разные имена? Несовпадение. Какое-то оказалось неправильным. Не знаю, можно ли это объяснить. Глупость, наверно.

– Нет, нет! Не глупость. Пусть нельзя объяснить – и зачем? Вроде бы всего лишь слово, произвольное, но вдруг окажется не то, вдруг не соединится? Лучше не все говорить вслух, правда? Только про себя, в уме. Есть такое, что должно прозвучать само. Только бы узнать.

– Интересно вы рассуждаете. Думаете, так бывает? Что можно о человеке узнать, если не расспросить, если он сам о себе не расскажет? Я не знаю даже, сколько вам лет, как вы выглядите.

– О, этого не надо, этого лучше пока не надо. – В голосе снова тревога. – У меня ведь даже убрали из помещения зеркало. Сказали, лучше пока не смотреть. Может подействовать нежелательно. Все, говорят, в свое время. Понемногу узнаешь, вспомнишь, что надо. А чего не вспомнишь, напомнят, расскажут. Привыкай говорить понемногу с другими, нельзя только с собой. С какими-то воображаемыми голосами... Ведь вы существуете на самом деле, правда? Хотя я вас пока не вижу. Но я могу с вами говорить, знаю, что вы меня слышите. Мне больше ведь ничего не надо...

2

Попутный визит в сбербанк напомнил Зимину о малопривлекательной перспективе: еще немного, и он остается совсем на нулях. С литературных заработков накапало не больше, чем от пролетевшей случайно птички – стоило удивляться, что какие-то книги еще продавались. Последние года четыре он легкомысленно позволял себе отмахиваться от этой неизбежности – жил на плату за аренду бывшей Алининой квартиры. Она, уехав, оказывается, ее не продала; связывала с ней, возможно, какие-то неизвестные будущие планы. Зимину это обстоятельство открылось, лишь когда к нему однажды наведалься новый обитатель квартиры. До тех пор у этого человека

имелась оказия пересылать договорную плату прямо хозяйке, за океан; теперь какой-то передаточный канал прикрывся, заодно отпала и существенная потребность в этих деньгах. «Что такое для Америки двести долларов в месяц? – приподнимал понимающе брови малорослый толстячок – правую чуть выше, что делало всегдашнюю его улыбку несимметричной, усталой. – Если у нее не хватило ума заломить сразу два раза столько? Здесь это раньше казались деньги». Зимину предлагалось оставлять теперь эти деньги себе.

Первой реакцией было, конечно, отказаться еще и от этой унижительной милостыни. Не стоило даже продолжать разговор. «Вы напишете ей свой отказ сами?» – поинтересовался визитер. «И этого не собираюсь», – отрезал Зимин. «Тогда вы поощряете меня на обман, – снова поднял тот в несимметричной усмешке бровь. – Я смогу ей сказать, что выполнил поручение, а деньги оставляю себе. Почему нет, если никто их больше не хочет? Сам теперь удивляюсь своей честности. Мог бы вам сразу не назвать настоящую сумму, иметь с этого законную маржу. Считайте, что я уже сделал ошибку, раскрылся для вас, теперь еще надо морально переживать? Если хотите иметь с этого психологический сюжет, как писал один мой земляк, вы его уже имеете».

Не столько доводы заставили Зимина уступить, сколько грустноватый добродушный юмор. Это был то ли дальний Алинин родственник, то ли ее знакомый по давним, еще одесским временам, когда они жили не просто в одном доме – одним двором, где отношения между всеми были и впрямь почти семейными, не различишь. Свадьбы, праздники, юбилеи справлялись за общим шумным столом, чей-нибудь гость становился гостем общим, личные проблемы, любовные приключения, семейные драмы ни от кого скрыть было нельзя, и не собирались; важней их самих была возможность совместно все обсудить, поплакать на чьей-нибудь пышной сочувствующей груди, утешиться. Они, эти драмы, и разрешались совместными усилиями – о, таких отношений сейчас уже нет, а в Москве не было и никогда. Коммунальные квартиры по

сравнению с этой жизнью – клоповник, где нравится укусить, нет?..

Деньги он вначале приносил сам, нерегулярно, зато в полноценных американских бумажках, и конечно, ненадолго задерживался для разговора. «Я бы вам мог таких сюжетов на-рассказать!» – пояснял он свою осведомленность и, стало быть, интерес к собеседнику. В Москве он обосновался для занятий бизнесом, квартира служила одновременно офисом. В чем заключался бизнес, уточнять он не стал, но рассказал увлекательно и подробно о попытке пробить в высоких инстанциях («очень высоких, не буду вам называть») некий многообещающий проект. Чтобы слегка намекнуть – снабжение вооруженных сил по упрощенной, выгодной схеме. «Не совсем напрямую, это понятно, нельзя сразу продвигать через рот в задний проход, кто-то должен по пути постараться и, конечно, иметь приличный навар, нет? Но эти, которые называют себя посредниками, они же просто присосались, чтоб прогонять поток через себя, больше перехватывать, чем остается. После них все становилось в три раза дороже». Продвижение проекта требовало предварительных вложений, это разумелось само собой. Бровь приподнималась удивленной обычного оттого, что никто даже не держал секретов от других, прямо на пальцах объяснял, сколько надо будет дать в каком кабинете, сколько стоит переместить бумаги из этого кабинета на противоположную сторону коридора, сколько стоит доплата за ускорение. Подпись можно было получить, даже если нужный человек находился сейчас где-нибудь в Аргентине. Все знали таксу друг друга, все были в доле. Такое поголовное соучастие обеспечивало, как ни странно, безопасность каждого, вот что надо было признать замечательным. Попробуй кто заложить другого – в ответ с ним поступили бы так же, но зачем? В политике это называется равновесием страха: у каждого своя водородная бомба. Такая определенность показалась вначале по-своему удобной. Однако даже наличие самой последней (то есть уже первой) подписи вовсе не гарантировало результата, об этом тоже предупреждали заранее. Так оно и получилось. «И я уже сам этого хотел, – приподнимал бровь

одессит. – Уже начал догадываться, куда чуть не угодил. Мне так потом и сказали: считай, что тебе повезло. Если бы проект прошел, ты бы уже лежал где-нибудь в хорошем подмосковном болоте и имел в голове лишнюю дырку, зачем?»

Вернувшись в Москву после затянувшегося сверх ожиданий отсутствия, Зимин обнаружил, что деньги продолжали поступать на его счет в банке. Правда, теперь в рублях, но так было и договорено еще раньше. Большую часть пришлось тут же потратить, оказавшись в больнице. А уже после больницы он обнаружил однажды, что поступления прекратились. На телефонные звонки никто в бывшей Алининой квартире не отвечал. Выждав еще некоторое время, Зимин решил туда все-таки наведаться сам. Надежно бронированная дверь оказалась заперта. По словам одного из соседей можно было понять, что симпатичный жилец исчез и не появлялся уже долгое время. Возможно, с ним и вправду что-то случилось? Зимин до сих пор словно дожидался ясности, закрыв глаза: авось само что-то подскажет.

И вот, значит, теперь действительное безденежье. Вроде бы не впервые, но прежде мысль об этом не отдавалась таким ощутимым холодком по спине. Раньше ты знал, где при нужде подработать, перехватить поденщину. Одалживаться никогда не любил. Слишком многое переменилось с тех пор. Оборвались связи, сам отвык суетиться, рыскать. Расслабился. И возраст, что говорить, не тот. Грузчиком уже не потянешь, пожалуй. Разве что побираться?..

Мысль, в первый момент несерьезная, как бы игривая, заставляла по пути приглядываться к разнообразным нищим. Вот этот почти на меня похож, примерял он. Если несколько дней не бриться, обрасти щетиной седой. А главное, отряхнуть стыд. Раз не хочешь подыхать, как «Варяг», гордо. Хотя подадут ли тебе еще? Изобразить инвалида? Играть, как этот скрипач? Увы, не смогу. Продавать домашние вещи, как эта старушка?.. Алина, помнится, собрала как-то наскоро целых две сумки вещей для погорельцев, которые позвонили в дверь, женщин с детьми. Приличная, казалось, одежда, последнее время ее просто не надевали. Дети благодарили заученными

голосами. Почти все вещи обнаружили потом возле мусорного контейнера – погорельцам показались недостаточно модными. По телевизору люди жалуются на безденежье, нищету, в квартире холод, видите, приходится надевать шубу. И шуба на женщине меховая, посмотреть, недешевая, в квартире на стенах ковры. Не станешь же в ответ вспоминать про свои обноски, про туфли парусиновые, которые когда-то белил зубным порошком, про времена, когда рассказы о белом хлебе казались сказочными, но жизнь почему-то не представлялась несчастной. Две нищеты могут быть несопоставимы, ничью не оспоришь...

3

За несколько лет, что Зимин в этих местах не был, хорошо знакомый квартал оказался едва узнаваемым. Чтобы выйти к месту, где была назначена встреча с Сабиной, требовалось теперь сперва спуститься под землю. В длинном, слабо освещенном переходе еще пахло сыростью недавно законченных бетонных работ. Переход изгибался, в двух местах разветвлялся, указателей не было. Приходилось мысленно себе представлять, что сейчас над тобой наверху, уточняя направление, словно маркшейдер, по условному азимуту.

Откуда-то понесло запахом дыма – загорелся ли мусор в урне? Лоточницы спешно переносили в другое место свои пожитки, столики, сумки, переговаривались вполголоса.

– Третий раз выкуривают, ну что ж такое?

– Муравьи, действительно.

– Наша, говорят, территория.

– Все скоро захватят.

Нет, это не мусор, – прислушивался на ходу Зимин. Непонятно, как всякий случайно перехваченный обрывок. Нераспознанные новые хозяева предупреждали... уверенные, деловитые, незаметные... где про это было написано?.. совсем недавно читал? Не мог вспомнить..

Выбравшись наверх, он некоторое время вынужден был озираться. Не сразу удавалось понять, где ты находишься. Место, назначенное для свидания, оказалось огорожено бетонным глухим забором, на ограде большой плакат без картинки: «Строительство культурного бизнес-центра „ЦИВИЛИЗАЦИЯ XXI“». От прежней улицы оставалась лишь усеченная часть, зато она была расширена, превращена в пешеходную зону. Панель выложена фигурной плиткой. Два павильона, облицованные зеркальным пластиком, отражались один в другом напротив выхода: черные, непроницаемые для взгляда ящики – что в них могло совершаться?

Помните, где была тень от облака? Встретимся на этом месте. Приметы, подробно описанные Сабине, как и план, нарисованный на листке, могли теперь скорей сбить с толку. Не осталось памятных часов на перекрестке, по которым столько раз случалось сверять время, самого перекрестка не было. Исчез дом с букинистическим магазином, там продавщица могла по знакомству отложить под прилавок редкую книгу. (А какие были тогда не редкостью?) Зато открылся в неожиданной красе трехэтажный особняк с белым обновленным портиком. Стоял ли он тут раньше, задвинутый вглубь двора, заслоненный грязными стенами, сам такой же обшарпанный, незаметный, был ли восстановлен, то есть построен заново по сохранившейся картинке? Невозможно было узнать.

И что тут теперь показывать иностранке, о чем рассказывать? Жильцов сменили, обитателей коммуналок переселили в отдельные квартиры на спальных окраинах, в особняк въедут хозяева взамен законных наследников. Юридические права давно не в счет. Да и наследники-то, вспомнившие свои титулы, сами сморкаются в пальцы. Надо наживать историю заново взамен обрубленной, переделанной. Жить в укороченном времени даже удобно, как удобно жить в благоустроенных, но все равно временных многоэтажках.

Сабина задерживалась. Зимин уже начинал думать, не ждет ли она его где-то в другом месте. На всякий случай он медленно прогуливался по улице взад-вперед – благо она стала короче; разглядывал встречных...

На развороте иллюстрированного журнала была как-то роскошная фотография: пространство, сплошь выстланное телами голых людей, мужчин и женщин. Они улеглись перед фотографом на спинах головами в одну сторону, вплотную друг к другу, как булыжник на мостовой. В обширный кадр вместились не все – нетрудно было мысленно продлить перспективу дальше, за край, до горизонта. Фотография передавала самые мелкие подробности: татуировку на предплечье, волоски на груди, даже родинки. Груды женщин были вяло приплюснуты, мужские члены почти не видны, прикорнувшие; кто-то приподнял свой рукой, чтоб все-таки был запечатлен. По отдельности, на расстоянии друг от друга, каждый из них и тем более каждая могли бы выглядеть привлекательными. (Подростковая мечта: увидеть сразу столько голых людей, слюнявое подглядывание за купальщицами). Нет, тут даже никто ни на кого не смотрел. Бедняга потому и вынужден был приподнимать рукой свое сокровище – ничегошеньки сам не мог чувствовать. Как и все прочие. Безразличные и друг другу, и зрителю, малоэстетичные неинтересные твари, уплотненные бессмысленно, механически.

Какой допустимый предел плотности должна перейти сгущенная человеческая масса, чтобы вид тел, лиц вызывал скорей неприязненное отталкивание? Начинают действовать законы уже безличных, вспоминаешь скорей физику, формулы взаимодействия частиц, притяжения и отталкивания, критический порог, за которым вдруг ужас – о! еще бы! Обезумевшая безголовая толпа, ноги топчут мякоть упавших тел на подступах к гробу, ребра, стиснутые, стиснувшие дыхание, неспособные расправиться. Надо ли вдобавок объяснять отталкивание от массовых сборищ, инстинктивное желание держаться подальше от толп – и не только физически? Подальше, подальше от экстаза наэлектризованных, теряющих самостоятельные свойства, заряжающих друг друга частиц, от тысячеголового приветственного рева. Там запах пота и подмененного дыхания, там липкий воздух дурманящего восторга, там бродило иррациональных страстей, драки фанатов, до смертоубийства, лишь бы привести в равновесие химию организ-

ма, своего и общего. Там невозможно оставаться собой, ты лично там никому не нужен – и обойдутся. Обойдутся без тебя те, кто нравятся миллионам, им и так хватит. Если это называется недемократизмом – ну что ж. Ухмыляйся в ладошку, стоя особняком, делая свою непризнанность...

Мальчик лет шести вырвал свою руку из маминой, пошел, балансируя на узком тротуарном бордюре. Ему интересней ощущать себя канатоходцем... Да, пробовал вернуться к недодуманной мысли Зимин, ощущать себя на такой улице одиноким может лишь кто-то, смакующий свою непонятость. Или действительно неудачник, вроде вот этого бомжа, который все курсирует мимо скамеек, подбирает пустые бутылки. Хозяйственная сумка на колесиках неподалеку уже набита, больше не поместится, пора отвезти, получить заработок. Потные пряди на загорелой лысине, лоб высокий, в глазах печаль, лицо испитое. Мысленно его побрить, подгладить брюки – проглянуло бы что-то интеллигентное. Может, даже с высшим образованием. Молодая темноволосая женщина сидела на раскладном стульчике, перед ней стоял на подставке прибор для научного гадания. Плакатик обещал определить характер, предрасположенность к болезням и предсказать будущее посредством какого-то электромагнитного анализа. На отдельной бумажке от руки предложена была дополнительная услуга: «Отвожу с глаз». Клиентов не было, она читала объявления в рекламной газете. Неподалеку обосновался демонстрант-одиночка с большим, густо исписанным листом ватмана на груди. «Соотечественники! Меня уволили с работы, нарушили все нормы закона, насильственно выселяют, говорят, дом ведомственный. Все судьи в нашем городе куплены. Адыгейский прокурор, который настроен против всего русского, отказал мне в праве...» Мимо него проходили, оглядывались безразлично, задерживаясь лишь ненадолго, на несколько первых строчек. Лицо демонстранта было такое же серое, как одежда, щеки впалые, губы сжаты воинственно. Зачем он стоял тут, на что мог надеяться? Был бы антисемит или наоборот – может, среагировали бы. А тут – отдаленные национальные темы, правды нигде не найдешь. Адыгейский – что

это? Национальную общность ощущаешь, когда припечет, тогда станешь искать своих...

Все то же, все то же, – не мог уловить Зимин что-то близкое. Неспособность, неготовность, нежелание соприкоснуться, проникнуть хотя бы чуть глубже поверхности. Неизвестно же, чем это обернется, какое возникнет вдруг напряжение, чем придется поступиться, что в себя допустить?.. Вот, один такой уже здесь собирает бутылки. Он вернулся, опустошив сумку, прислонил ее за скамейкой. В руке у него теперь оказался букет сирени. Наломал, должно быть, где-то неподалеку, в соседнем дворе или сквере.

Взгляды встретились – притянулись. Небритый потоптался неуверенно, потом подошел,

– Вы дожидаетесь даму? Букетик не купите? Всего двадцать рублей.

Интонация оказалась действительно интеллигентной. «Дама»... Если Зимин и задержался с ответом, то лишь потому, что пытался сообразить: тот ли это случай, когда ожидают даму с цветами? Как это у них, на Западе, принято?..

– За полцены уступлю, – поспешил тот растолковать заминку. – Всего за десятку.

Да что же я? – одернул себя Зимин. Так сосредоточился на своем, только на своем. Вот он уже и цену сбавил...

Небритый, получив деньги, потоптался неопределенно. Чего-то еще хотел.

– Закурить не найдется?

– К сожалению, больше не курю, – развел руками Зимин.

– Почему к сожалению? – откликнулся тот. – Минздрав и меня предупреждал. Менс сана ин корпоре сана...

Поскреб пятерней в затылке, усмехаясь. Потом повернулся, отошел. Ну вот, даже по латыни знает. Чего он еще хотел? На сигареты, если ему нужно это, десятки хватит. Окурков, в конце концов, полно под скамейками... Он ведь разговора хотел, запоздало, вдогонку соображал Зимин. Ждал вопроса – я не откликнулся. Хотя только что думал именно об этом. Не сработал рефлекс. И сколько раз уже так бывало. Уклоняешь-

ся от соприкосновения инстинктивно, осознаешь это не без от-
вращения к себе...

Он продолжал медленно прохаживаться по улице взад-
вперед. Давненько не дожидался так свидания, с цветами в ру-
ках. А ее все нет и нет. И не надо. Чтобы встретиться, надо дей-
ствительно захотеть, сосредоточиться, задержать человека вз-
глядом...

Вот... Это было, как дуновение ветра. Она спешила изда-
дека, легкая, воздушная, косынка трепетала на шее, молодое
лицо покраснелось, сияло. Как она только что готовилась
к встрече, поправляла перед зеркалом прическу, уточняла ри-
сунок глаз, оглаживала на бедрах юбку. Она приближалась
уверенно, все более ускоряя шаг, почти подбегала, уже при-
ветственно махала рукой. Зимин даже не сообразил оглянуть-
ся: ему ли это? Застыл, не мог отвести взгляд. Легкое, веселое
чудо жизни. Цокающие каблучки...

Она чмокнула ошеломленного Зимина в щеку, взяла
у него букет.

– Прости, что я опоздала, – сказала весело – и огляну-
лась. – Извините, – добавила тихо, другим голосом, но улыбки
не отменяя, – мне надо избавиться от этих двоих.

Зимин, еще растерянный, перевел взгляд на них. Двое
смуглых парней остановились шагах в пятнадцати, ожидали
прояснения. Один играл брелочком, вертел цепочку на пальце.

Женщина уткнулась лицом в сирень, вдохнула аромат,
сама благоухая свежестью. Зимин тоже пригнулся к букету.

– Могли бы найти кого-нибудь помоложе, – сказал тихо.

– Нет, вы надежней.

– Примут меня за вашего отца.

– С цветами? Кто седой, тот богат, разве нет? Они пони-
мают.

Парни переглянулись, повернули назад. Вся улица очи-
стилась, опустела. Стало слышно чириканье воробьев – вот же
они, прыгали на плитках мостовой рядом, перехватывали
друг у друга кусок булки.

– Простите, – сказала женщина. – Вот ваша сирень.

– Нет, возьмите себе, – сказал Зимин.

– Но вы кого-то ждете?

– Если бы не ждал, я пошел бы проводить вас... Может быть, не сегодня? – добавил он. – Вы дадите мне ваш телефон?..

Этого он не сказал. Еще одна несостоявшаяся встреча. И ведь, как ни смешно, в самом деле был сегодня при последних, сравнительно больших деньгах. Вот они, в кармане. Еще одна жизненная невозможность. Она уходила, плыла, легко касаясь асфальта, тонкие высокие каблуки не ощущали на себе веса, и он запоздало осознавал происшедшее. Сильное веселое тело, такое естественное в походке. Еще не загорелые голые икры чмокались одна о другую. Дуновение свежести. Явление из другой жизни.

4

Отголосок непонятого скандала донесся до Зимина. Он оглянулся.

Спиной к нему стоял человек в странной одежде. На голове потрепанная фетровая шляпа, жаркая в такой день. К длинной, навывпуск, блузе художника подшиты там и сям разноцветные ленточки, бантики. Над плечом поднимался зеленый воздушный шар. Клоун, что ли? – присмотрелся Зимин.

– А куда ему клась-то? – спросила женщина рядом.

– Чего он хочет?

– На мостовую.

– Не мог лучше придумать!

Зимин обошел человека с бантиками. Белое, слабо подгримированное лицо было опущено. На глазах черные очки. К шляпе спереди тоже подшит бантик. Он ничего не делал, не показывал, просто стоял. В левой руке держал нитку от шарика, под шариком подвешена была легкая табличка: «Проявите сочувствие». Ни тарелки, ни хотя бы картонной коробки на мостовой не стояло, шляпа оставалась на голове, ладонь не повернута для подаяния, взгляд безучастно опущен.

– Не, а чего он все-таки хочет? – продолжалось вялое обсуждение.

– Написано: чтоб сочувствие проявили.

– Это как?

– Показал бы что-нибудь, если стоит.

– Чтоб по головке погладили.

– В защиту собак.

– Э, ты бы сказал что?

– Не отвечает.

– Глухонемой?

– Скорее слепой.

Большая грязная собака лежала на мостовой неподалеку, голову положила на лапы, дремала. Непонятно было, имеет ли она отношение к ищущему сочувствия. Ничего более бессмысленного в самом деле нельзя было придумать. Это, возможно, и останавливало проходивших мимо. Достаточно было задержаться несколькими, чтобы скопление, по известным законам саморазвития масс, стало привлекать любопытство других. Кто-то уже положил первые монеты прямо на мостовую к ногам стоявшего – тот не шелохнулся. Девушка в цветастой блузке, в шортах встала с ним рядом, чтобы сфотографироваться: вытянула в его сторону губы, готовые к поцелую, приблизила к плечу пальцы, готовые погладить, но дотрагиваться не стала – боялась испачкаться.

Стоявший поодаль демонстрант-правдоискатель увидел, что внимание совсем отвлечено от него, переместился поближе, с недоумением глядя на незваного конкурента. Что же это, в самом деле? Человека выгнали с работы, оставляют без крыши над головой, подошел бы кто, поинтересовался, Нет, тарачатся не поймешь на что.

Собиравшиеся зеваки заслоняли гадалку, не давали подойти к ней возможным клиентам. Она поднялась со своего стульчика, направилась к ряженому.

– Э, вы почему тут стали? Отойдите подальше куда-нибудь.

Тот не реагировал – не слышал или делал вид, что не слышит?

– Э? Глухой, что ли? – повысила голос черноволосая. – Кому говорят? Хочешь, чтобы тебя другие подвинули?

– Сама бы отошла подальше, – откликнулась вместо него грузная женщина. За руку она держала девочку с болезненно раздутым лицом дебилки. – Сочувствия жалко?

– Какое ему нужно сочувствие? Выпить хочется, вот и валяет дурака.

– А хотя бы и сумасшедший.

– Он денег не требует.

– Так пусть не морочит голову, не занимает места.

– А места здесь, что ли, платные? – сказал пожилой человек с ленточками военных наград на пиджаке. Стоявшая рядом жена дернула его за руку: перестань.

Гадалка посмотрела на него мрачно. А ты думаешь? – говорил без слов ее взгляд. И отошла куда-то, прихватив свой стульчик; но гадательное электронное устройство оставила.

Неподалеку затевалось еще одно непонятное действо. Группа малорослых ребят, образовав круг, ритмично похлопывала в ладони. Они были одинаково одеты: черные пузырьчатые шаровары, такого же цвета рубашки, туго перетянутые поясками, делали их похожими на муравьев, что ли...

Тут лишь Зимин вдруг вспомнил слово, которое сегодня пытался, но никак не мог оживить в памяти. Муравьи, да. Это как раз про них он утром читал. Выходя из дома, попутно очистил почтовый ящик от рекламного мусора. Газет и журналов он давно не выписывал, к ящику подходил просто перебрать бумажки, чтобы не выбросить ненароком нужное. Среди обычной макулатуры (легкий заработок, средство для похудения, строительство коттеджей) оказалось что-то вроде листовки. «МУРАВЬИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ». Он пробежал взглядом начало. Оформлено это было строфами, как стихи. «Ваше дерево отшумело, засохло. Ваши слова пусты, ваш разум бессилён. Сок вашей жизни высох». Что-то вроде текста новомодной рок-группы. Рассылают свою рекламу? Или, может, манифест неизвестного движения?.. Вникать он не стал, не до того было, но бумажку сложил и спрятал в задний карман с мыслью посмотреть потом.

Черненькие медленно перемещались по кругу, совершая что-то вроде коллективного танца: ритмично вскидывали руки, поворачивались в стороны, поднимали колено, другое. Зеваки понемногу перетекали теперь к ним, кто-то пробовал присоединиться, попасть в затягивающий ритм, угадать движение...

– Здравствуйте, – отвлекла Зимина от наблюдений Сабина. Он про нее уже чуть не забыл. – Что здесь происходит?

Она даже не стала извиняться за опоздание, выглядела непонятно чем раздраженной.

– Как видите, – показал Зимин. – Человек просит проявить сочувствие.

– Я не понимаю, – сказала она нервно, приглядываясь к плакатику. Глаза щурились, как у близорукой, напряженно и немного брезгливо. – Как это по-русски: проявить? Сочувствие – как это?

– А по-немецки как?

– По-немецки есть Mitleid, Mitleiden. Но при чем тут Mitleid? – Сабина и впрямь была чем-то раздражена.

Мальчик в коротких штанах прицелился из игрушечного пистолета в плакатик, как в мишень. Выстрелил и попал, но присоска на плакате не удержалась. Мать не успела дать ему подзатыльник – он побежал подбирать свой снаряд. Девочка с раздутым больным лицом потянулась было туда же, мать удержала ее за руку. Та заныла, пуская слюни, потянулась теперь в сторону собаки, свободная рука ее выражала желание погладить.

– Это что, хеппенинг? – пыталась понять Сабина.

А, вот как это, наверное, называется. Зимину вспомнилось письмо Бурлака. Одна из многих нынешних бессмыслиц. Что такое сочувствие вообще, неизвестно к кому? Хоть бы лицо показал. А еще лучше язвы, раны, культы, розовые обрубки. Все люди братья, обнимитесь?.. Нет, это годится лишь для объединившихся во чье-то имя. И то не каждый день, и не так вот, на улице. Это раздражало, как механическая помеха, которую надо было устранить. Это, что ли он хотел доказать?..

Ответить Сабине он не успел. Гадалка вернулась в сопровождении плечистого парня. Грудь его черной безрукавки украшала оскаленная физиономия вампира, красная капля свисала из кровавого рта. Для устрашения хватило бы вида его собственных накачанных мускулов.

– Ты чего здесь встал? – подошел он к борцу за права, национальные или квартирные.

– Вы все на деньги меряете? – огрызнулся тот. Парень пихнул его легонько, поощрительно: давай, проваливай. Тот едва удержал равновесие.

– Да не этот, – показала гадалка. – Этот просто так, присоедился.

– А что, здесь места платные? – не желал все-таки успокоиться без ответа ветеран с наградами прежних времен.

– Сейчас узнаешь.

– Пойдем, пойдем, – оттягивала его пальцами за рукав жена. – Не вмешивайся в ихние разборки.

– Подождите, я должна спросить, чего он хочет. Зачем он пишет Mitleid? – направилась к ряженому Сабина.

Было, однако, поздно. Палочка без присоски, пущенная с близкого расстояния из пистолета, попала теперь в шарик, он лопнул с хлопком. Грязная собака одновременно взвизгнула, вскинулась, как от удара. Может, ей наступили незаметно на лапу. Она заковыляла прочь как-то странно: на одних лишь передних лапах, задние были парализованы. Иногда то одна, то другая прикасалась к асфальту, как будто старалась все же участвовать в движении, но потом опять зависала. При этом уходила она на удивление быстро.

Плакат повис на ниточке в руке ряженого. Он коротко поклонился, приложив руку к груди, и направился вслед за собакой. Аплодисментов не прозвучало. Левый угол верхней губы подтянут был в слабой улыбке, правый сам собой опустился вниз: от жары и пота грим потек. Морщина обозначилась поперек лба.

– Собак надо лечить, кормить или усыпить – вот сочувствие, – произнес задержавшийся зевака. Оглянулся коротко, быстренько подобрал оставленные на мостовой монеты.

– Э, я хочу с вами говорить, – дергала уходящего за рукав Сабина. Зимин последовал за ней. Черненькие танцоры поодаль продолжали свой танец, создавая ритм собственными ладошками, подпевая себе без слов. Зимину показалось, что лица у них были морщинистые, как недозрелое увядшее яблоко. Ансамбль лиллипутов? – не успел приглядеться он. Ряженный ускорила шаг. – Объясните, почему Mitleiden? – настаивала Сабина. – Надо говорить, чтобы люди понимали... Er beantwortet mir nicht, – обратилась она к Зимину и наконец остановилась. – Он не хочет слышать.

– Глухонемой, будем считать так. Не обращайтесь внимания, – сказал мрачно Зимин. – Философ сказал бы: монада. Такие же, как все прочие.

Глухонемой в черных очках на ходу обернулся и показал ему длинный язык.

5

Никуда идти, ничего смотреть Сабина сразу не захотела. Они уселись в первом попавшемся уличном кафе. Угловой столик еще не был вытерт, в стеклянной вазочке стояла ветка сирени – возможно, с того же куста, который обломал собиратель бутылок. Сабина нервно закурила, не могла справиться с зажигалкой. Пока соблаговолила подойти официантка, она передумала заказывать кофе, попросила взять что-нибудь выпить. Выбрала в меню вино со знакомым грузинским названием. Зимин поколебался, предупредить ли ее, что изготавливаться оно могло вовсе не на Кавказе, и цена не вызывала доверия. Не стал. За другие напитки сейчас тоже нельзя было поручиться. А денег заранее настроился не считать.

Непонятная уличная сцена не давала немке покоя, маловразумительное объяснение Зимина только раздражало еще больше.

– Что это монада? – продолжала допытываться она, нервно пуская из ноздрей дым. – Я умею понимать, когда можно объяснить, да? Пусть Mitleid – я понимаю. Mitleid haben – со-

чувствие иметь, это да. Но почему проявить? Что он хотел сказать?

Зимин пожал плечами.

– Не берусь объяснить. И не понимаю, почему это вас так задело. Но если задело – значит возник какой-то смысл, которого он, может, сам не имел в виду. Пусть даже еще не смысл – напряжение... Не знаю. Людям иногда лишь кажется, что они говорят на одном языке – слова для каждого могут значить совсем разное. Если это не деловые бумаги, те должны быть понятны всем одинаково.

– О, тут вы ошибаетесь! – вскинулась Сабина. До сих пор она, казалось, едва вникала в его слова. Как раз в этот момент принесли вино. Пока официантка расставляла бокалы, немка стала закуривать новую сигарету – прежняя была смята о блюдец, погасшая. – Тут именно издевательский абсурд, я не знаю что...

Она выпила, не замечая вкуса. Ее не интересовал вкус. Ее бесило необъяснимое безобразие. Она приехала сюда продвигать перспективный проект. Те самые кафе, место встречи для одиноких, но имеющих деньги... Она забыла, что уже рассказывала об этом Зимину, стала было объяснять снова – тут же спохватилась. Не в подробностях было дело, чудовищен был непробиваемый, ватный абсурд, в котором она сразу увязла.

– Вы не думайте, я была готова, меня заранее предупреждали. Что надо субсидировать не организацию, не фонд, а конкретный... как это говорят?.. адрес?.. Но я думала, что увижу современных людей, как я. Я им писала по-русски, они отвечали по-английски, ладно. Говорят: нет, такой факс мы не получали, был какой-то другой. Это не могло быть. Хотя русский язык не мой матерный... материнский, да?.. но это не могло быть. Прошу показать, какой – не могут найти. Говорят, прежний человек ушел... О, это нельзя даже рассказать. Я пришла в бешенство, я сказала: пусть ищут факс, я буду обращаться в суд. Я знаю этот менталитет, они уже что-то ухватили, им достаточно. Хотя могли бы иметь гораздо, несравненно больше. Когда честный бизнес, с перспективой. Нет. Вежливые, в хороших галстуках, с английским языком – но это

же называется все равно совки, да? О, какое прекрасное новое слово! Хотя тоже нельзя понять, что это. Я не могу понять. Наконец, все-таки нашли, принесли мой факс, говорят, что мой – на нем ничего невозможно прочесть. Шрифт успел исчезнуть, стал белый... бледный, как правильно? Вот, я вам покажу, я вырвала у них, я не хочу больше иметь дела...

Она достала из сумочки лист, хрустящий, как папиросная бумага. Зимин покачал головой, вглядываясь в выцветший шрифт. Сам бы он такого не сочинил.

– Такая бумага, да? Может меняться?.. Нет, все. Я улечу первым рейсом, это кончено. Нет смысла здесь оставаться... А, черт, – отстранила она бокал, – что это за вино? Я хочу покрепче. Пойдемте ко мне, у моей подруги в баре осталось много...

6

Идти к ней оказалось отсюда близко. Дома в этом районе успели прибавить в высоту, первые этажи богатых офисов и магазинов облицованы были гранитом и пластиком. По пути попался банкомат, Сабина задержалась возле него. Зимин попробовал сказать, что у него есть деньги, она отказалась: все равно будет нужно. Как выразилась, наблюдая за процедурой, знакомая девочка: вынула деньги из стенки. Купила всего лишь две пачки сигарет.

Они вошли в подъезд. Из окошка глянуло на них лицо консьержки, смятое процессом усиленного жевания. Она, мыча, торопилась что-то проглотить, чтобы освободить рот для слов. Но поперхнулась, закашлялась.

– Пронесло, слава Богу, – сказала тихо Сабина.

– Мадам, – донесся освободившийся голос вдогонку; они уже поднимались пешком по лестнице, – как вас?.. фрау!..

– Не оборачивайтесь, – сказала Сабина.

Просторные апартаменты на втором этаже достались ей от знакомой журналистки, которая уехала на месяц по своим делам. Это была, собственно, одна большая комната, разде-

ленная неполной перегородкой. В одной части располагалась громадная кровать, в другой деловой стол с компьютером, такие же деловые полки. Сабина скрылась на кухне. Зимин сел было в глубокое кресло – и оценил свою неосторожность. Кресло легко охватило, поглотило его, готовое превратить тело в расслабленный студень. Он поспешил встать – это удалось не без усилий. Еще немного, и он бы не смог вырваться.

– Черт, совсем пустой холодильник, – доносился с кухни голос Сабины. – Хотите маслин? Есть еще сыр, но совсем старый. А, я не хочу есть, – сказала она вошедшему Зимину. – Будете со мной пить? – показала бутылку виски.

Женщина, которая хочет напиться – это было похоже на своего рода обещание. Зимин пригубил лишь слегка. Увы, ничего похожего на желание в нем даже не шевельнулось. А без желания – чего можно ждать, кроме неудачи?

– Здесь делать нечего, – нервно повторяла Сабина, закуривая. – Я отложила дела, поставила под удар карьеру. Все, больше никаких отношений. Мне надо зарабатывать. Я сегодня же заказываю билеты.

Одну порцию она уже выпила, сразу налила себе новую.

– Почему он так написал? – не могла она успокоиться. Слово, так и не устроившееся на место, задевало выпирающими углами. – Что он хотел? Какой Mitleid? Это было сойти с ума, когда мама говорила: Mitleid. И смотрела на меня такими глазами! Я была, как преступница. Почему так смотрела? Она была в хорошем доме, я ее не оставляла одну. Это стоило много денег, о! У нас все очень дорого. Не так много, как домашняя компаньонка с медицинским дипломом, так много мне было тогда не по карману. И ей не нужна была медицина, она была в физическом порядке. Только хороший дом, питание, общество. Дом был прекрасный. Озеро Штернберг, яхты, зеленые деревья. Такие аккуратные, милые старички и старушки. Почему я должна была чувствовать себя виноватой преступницей? Я не могла взять ее совсем к себе. Я не могла быть все время дома. Мне надо ездить, зарабатывать, жить. Я приехала к ней, когда могла. Не меньше раз в месяц. Это было сойти с ума, когда она начинала стонать, как от боли.

Я не хочу в кацет... это в концлагерь, я хочу в свой дом. Это, говорю, не кацет, не концлагерь, – (Сабина воспроизвела мягкую, ласковую интонацию), – это хороший уютный дом. Здесь такие же люди, как ты, смотри. Они могут составить тебе компанию, говорить, гулять вместе, что еще? Нет. Зачем я здесь? – (Воспроизвела страдальческий голос матери). – Я ничего не сделала, никто не докажет. Я хочу только увидеть свою дочку. Какую дочку? Твоя дочка – вот она, я. Смотрит на меня с ненавистью, как на преступницу, говорит «вы». Не пытайтесь меня путать, я хочу настоящую, Гизелу. А Гизела – это моя старшая сестра, она давно умерла. Болезнь крови. О, я знаю, мама всегда любила ее, не меня. У нее была такая красивая кукла, мягкая, в баварском наряде, с фарфоровой головой. Если ее повернуть, глаза открывались, она говорила: а-а. Когда Гизелы не было, я с этой куклой играла в доктора. Делала ей укол вот сюда, очень больно, поглубже. Это было удовольствие, как сексуальное. Она стонала другим голосом: а-а...

Поискала бумажную салфетку, высморкалась. Ноздри покраснели воспаленно, как на просвет, на щеках проступили светлые пятна, словно загар выцветал местами.

– Не надо бы вам больше пить, – задержал ее руку Зимин.

– Мне надо. Здесь другого ничего нет. У вас нет даже таких таблеток, которые мне нужны. Я не взяла с собой, думала, мне хватит. Мне и так хорошо. Все было в таком о'кэй. У вас перестаешь понимать, почему должно быть так плохо, когда все хорошо. И мама тоже. Она мне говорила такие ужасы!.. не надо рассказывать. Не хочу. Врачи были ее враги, она опять плакала: Mitleid, Mitleid! Я ничего не сделала! А мне говорила, что все равно убежит из кацет. Там, где она раньше жила, недалеко был концлагерь, мне рассказывали. Это еще до меня. Американцы после войны водили жителей смотреть, чтобы знали, как было. Ее тоже. Но это все, это прошло. Она была совсем молодой девушкой, что она могла знать? Она была в каком-то союзе, пела народные песни. У нее был голос, он остался. Хотя сама стала совсем некрасивая, бесформенная, распухшая, как баллон. Почему так должно стать? Я тоже должна стать? Ужасно! Когда еще жила в своем доме, она ни-

кого не хотела видеть, соседей, никого. Закрывалась за дверью. Но так нельзя жить. Надо кушать тоже. Надо много чего. Сочувствие... проявить? Это нельзя понять.

– Одиночество в параллельном мире, – проговорил Зимин. – В мире своего мозга.

– Что? – переспросила она. – По-русски еще непонятнее. Почему я стала рассказывать тебе... пардон, вам? Мне можно, я выпила. Потому что ты слушаешь, да? Кто ты такой? Я не хочу понимать. Но я уже выздоровела. Все... Это был бред. Болезнь. Она хотела вернуться не в дом, а в хорошее время, когда пела красивые песни вместе с другими. И требовала, чтоб я вернула ей старые пластинки с этими песнями. Где я могла найти? Все, что я приносила, было не то. Ей все подменяли. Ее обманывали, никто не хотел *Mitleid haben*. Потом обвиняли сотрудницу, что она ее допустила на улицу, где быстро едут машины. Но это разрешалось, ходить, там все ходили по улице. Кто может быть виноват, если она не хотела жить, как жила? И водитель был не виноват, это признали. Она не попала под колеса, она сама, вдруг. А эта женщина – из русских немцев... немки? я ей помогла устроиться на работу в приют. Она сама от такой работы...

Сабина провела рукой от виска вверх и вперед, поясняя движение долгим высоким звуком. Поехала...

На сей раз Зимин решительно остановил ее руку, забрал бутылку, отнес в бар... О, сколько там еще стояло бутылок! Она смотрела на него, покачиваясь расслабленно. Раскисшее лицо ее откровенно постарело, но стало при этом более каким-то понятным. Прическа не растрепалась, но тоже стала немного другой, седина казалась скорее настоящей, чем искусственной. Зимин попробовал приподнять ее со стула.

– Я не хочу в постель, – вяло сопротивлялась Сабина. – Она громадная, как полярная льдина. Зачем туда?.. я не хочу на льдину.

Зимин подвел ее к кровати, помог лечь, как была, одетой. Приподнял ноги, снял туфли, следики, немного влажные от теплого пота ступней, прикрыл легким покрывалом. Она что-то бормотала, пьяная, по-немецки. Он поцеловал ее успокои-

тельно в лоб – лоб был в испарине. Сабина всхлипнула благодарно, по-детски шмыгнув носом – и почти тотчас заснула.

Дверь оказалась не притворенной плотно, она открылась, не требуя даже поворота ручки, потом сама тихо захлопнулась за спиной.

7

Заминка возникла у другой двери, в подъезде. Надо было что-то нажать, чтобы выйти, но свет в тамбуре не горел, в полутьме не удавалось найти нужную кнопку.

– Э, мужчина! – появилось за стеклом лицо – дозорная его все-таки перехватила. На волосах были накручены бигуди, в руке она держала журнал. – Вы чего так украдкой?

– Где тут кнопка, чтобы нажать? – обернулся Зимин.

– Ну-у, так вас сразу и выпусти, – жеманно протянула она. – Вы бы сперва мне помогите. Вот, – она показала журнал. – Я тут кроссворд разгадываю. Да подойдите же на минутку, вас женщина просит.

Зимин подошел. Крохотная сторожевая клетушка претендовала на сходство с уютной комнатой. На стеклянной перегородке раздвинуты были занавески в розовый горошек. Фотографические обои на задней стенке изображали перспективу рекламного интерьера, иллюзорно уводящую вглубь: полированные миниатюрные серванты уставлены были хрусталем, в изображенных кашпо цвели одновременно, как не бывает в жизни, живописные кактусы. Зато самая настоящая кушетка у боковой стенки укрыта была стеганым розовым покрывалом. Такого же цвета стеганый капот на консержке скрывал обильные формы. Телевизор на тумбочке был включен, на экране беззвучно, как в аквариуме, открывала рот женщина, смутно похожая на консержку, только в очках и с уже уложенными волосами.

– Так что у вас? – спросил Зимин. Та не сразу ответила, сначала посмотрела на него сквозь окошко, оставленное в стек-

ле на уровне дежурного столика. Приподнятые подбритые брови, изучающий взгляд снизу.

– Какой вы замкнутый, – произнесла наконец. – Слишком все у вас быстро. Вот: порода собак из восьми букв. Пятая «е», последняя «р».

Зимин подумал.

– Тут у половины жильцов собаки, – продолжала консьержка. – Детей ни у кого нет, а собаки почти у всех. И каждому хочется поговорить. Я для того тут и сижу, чтоб могли со мной поделиться. Раз уж мимо идут. Столько слушаешься – можно писать роман. Я-то разговоры никому не передаю, потому так мне и доверяют. Эти, по телевизору, вон, собираются каждый вечер, начинают всем косточки перемывать. И собственное белье рвутся, конечно, выставить. Почему так хочется открыться всему миру?..

– Сенбернар, – просчитал в уме Зимин.

– Что? – не сразу поняла консьержка. – Ну-ка, ну-ка, – примерила она с карандашом в пальцах. – Надо же, по буквам подходит. У них по телевизору простые слова отгадать не могут. У меня вон этих сборников с кроссвордами целая библиотека, все буквы заполнены. Можно университетов не кончать, образование по всем предметам. Вот, скажите: английский ученый, открывший в 1834 году первый закон элек... не пойму?... – электролиза? Не знаете? А я теперь вам могу сказать: Фарадей. Хорошее имя. Я и про биологию много теперь знаю, и про космонавтику, про футбол. А эти отгадают одно какое-нибудь слово – получает кто десять тысяч, кто целый автомобиль. За одно слово – автомобиль! Как люди туда устраиваются, вы можете мне сказать? Везде своя мафия, это конечно. Я им уже десять писем послала, на телевидение, чтоб меня приняли. Никакого ответа. Дождешься! Надо узнать ходы, но как?..

– Мне надо бы выйти, – напомнил Зимин.

– Какой вы необщительный, – укоризненно повторила консьержка, не отводя от него снисходительного, изучающего взгляда. – Сейчас выйдете, – вздохнула она. – Только сперва проверю в ответах.

Она надела очки в тонкой оправе и стала еще больше похожа на женщину, шевелившую ртом с экрана. В складке ее большого рта проявилось что-то лягушачье. Прочитала страницу с конца, другую.

– Шестой номер по вертикали... ну-ка, где он? – бормотала, морща маленький лобик... – Вот... Не угадали! – засмеялась удовлетворенно. – Правильно: ротвейлер.

– Что значит, правильно? – не согласился Зимин. – Все буквы подходят, укладываются, можно и так, и так. Если решение не единственное – мое тоже годится.

– Годится, не годится... Ла-адно, – протянула, наконец, и облизнула верхнюю губу ленивым, розовым языком. – Считайте, проскочили в следующий круг. Пока я в другом настроении. Когда в следующий раз придете?

Зимин пожал плечами.

– Я больше сюда не собираюсь.

– Ну да, конечно, знаю я вас!.. Идите пока. Только опустите еще по дороге это письмо. Ящик там прямо на углу. Попробую пробиться еще раз, я от них не отстану. А дверь-то отперта, выходите.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Который раз он попадал в этот дом, где все оказывалось узнаваемо на ощупь, можно было ходить ночью, не зажигая света и не натываясь – спросонок, не до конца проснувшись – на предметы, на стены, в которых не оказывалось памятного проема дверей, как это случалось в нынешней квартире, хотя и прожил в ней уже не один год. Значит, тот дом по-прежнему существовал, не был ни снесен, ни переделан. Просто забыл что-то, перепутал, приходилось с усилием напоминать себе, подтверждать: да, это тот самый дом, всмотрись, чего ты еще не узнаешь, не можешь вспомнить?..

– Ну? – сказала она. – Почему у тебя такой растерянный вид? Чего-то не можешь найти? Забыл что-то? Может, и меня перестал узнавать?

– Как тебя забудешь? – отвечать тоже приходилось с усилием, преодолевая себя. Он избегал поднимать на нее взгляд, точно боялся увидеть другое, переменившееся лицо. Не обязательно было смотреть, ее присутствие подтверждалось ощущением, почти болезненно. – Попробуй расстегнуть молнию на моих брюках, сама убедишься.

Не было уверенности, что шутка уместна, получилось против желания. Хотя назвать ли желанием то, что происходило сейчас с тобой – в насмешку над пониманием?

– Ну, ну, – он, не видя, ощущал ее взгляд, как прикосновение. Значит, еще немного, и должно было разрешиться что-то,

казавшееся уже невероятным. – Только не надо спешить, – это сказал себе он сам, или продолжал звучать ее голос? – Не здесь же, рядом с кроватью. Малыша можем разбудить... Вот, опять заворочался. Да пойдем же, пойдем, чего ты не понимаешь? Как будто забыл, где мы. Пойдем, я тебе покажу, напомним...

Стены переходного длинного помещения закрыты были дощатыми грубыми стеллажами, как в старой кладовке. В свете тусклой подвальной лампы теснились ряды книг, папки с завязанными тесемками, вперемешку возникали полужнакомые предметы: старый чугунный утюг, электрический самовар, примус, колченогие стулья свалены были в углу, запыленные обломки детских игрушек. Полубиблиотека, получулан. Он начинал догадываться, куда она его ведет, надо было только вспомнить слово.

– Это твоя? – потянулся он к одноногой целлулоидной кукле в одних грязных трусиках.

– Не трогай, – остановила она. – Смотри, сколько на всем пыли. Зачем поднимать?

– Но ты любила ее колоть в попку? – неуверенно попытался напомнить он.

Она рассмеялась. Смех ее отзывался, как в подземелье, гулким уханьем, кашлем.

– Вот, даже в горле у меня запершило... попало, – сказала она, успокоившись. – Лучше тут ничего не шевелить, оставь. Эта кукла тебя выдала. Чужая жизнь тебя никогда не интересовала, только свои чувства, мысли, воспоминания, свои слова. Вот они, твои слова, в этих кипах бумаг.

Всегдашняя ее логика, – думал он, смутно чувствуя, что ей надо сопротивляться.

– Ты не знаешь, что я успел без тебя написать. Не просто слова на бумаге. Там не пыль, там целая жизнь, наша общая. Смотри, я сейчас тебе покажу...

Почему опять не удавалось найти сразу нужное, который раз? Ведь только что листы были в руках, положил вот сюда. Полки загромождены до потолков, не очистил в свое время...

да, вот она, та самая папка, и никакой пыли на ней не было. Свеженькая. А она думала?

Он развязывал тесемки, ногтем расслаблял затянувшийся узел, предчувствуя близкое торжество. Сверху лежали какие-то газетные вырезки. Не спешить, напомнил он себе. Лучше не сразу, оттягивать слаще всего. Когда все найдешь, позади останется опустевшее, сжавшееся, несущественное мгновение... Вот, детский рисунок: рожица, похожая на поросенка, из глаз свисают, падают длинные капли слез, вокруг надпись корявыми печатными буквами, красным карандашом: «Мама, папа, где вы?» Да, это мое, наше... и заголовок – вот он, на следующей странице... Только почерк трудновато узнать, с возрастом такое бывает, меняется. Маленький муравей быстро переползал через страницу.

– У вас тоже стали хозяйничать эти? – заглянула она ему через плечо. – А почему перед заголовком не твое имя? Почему написано Z? Разве это ты?

– Да, это не совсем я, – насмешливое непонимание начало его раздражать. – В книге я не могу быть совсем собой. Ты раньше это понимала. Человек не всегда бывает одним и тем же. Разве я сейчас тот же человек, который жил со своей женой? С этим, другим человеком я могу вести диалог. Удивляюсь ему ли, самому себе. Не узнавая... Послушай, вот, я тебе сейчас прочту первую фразу, ты сразу узнаешь... только почему здесь так плохо видно?..

Текст на листе был совсем бледным, невнятным, он бледнел все больше, все больше. И здесь то же, догадывался он то скливо. Казалось, со мной такого не может быть. Раз уж написано, не исчезнет...

Поискал взглядом, чем бы еще осветить. Керосиновая лампа предложила себя сразу... но есть ли в ней керосин?.. куда его наливал когда-то?.. и как надо подкрутить фитиль, чтобы не начадить, не напустить черной моли?.. как все вспомнить?

Беспомощно перевернул страницу – может, дальше написанное сохранилось? Да вот же где надо было сразу смотреть! Текст просто переходил, проступал на оборотной стороне ли-

ста, как на промокашке, – с торжеством догадался он. В самом деле, только перевести на язык прежнего смысла это оборотное отражение.

– Без тебя я перестал понимать, – сказал он, оправдываясь. И наконец поднял на нее неуверенный взгляд.

Она стояла на отдалении, спиной к нему, полураздетая, сведя руки восхищавшим его всегда движением за спиной, между лопаток.

– Глупый, глупый, – сказала она. В голосе теперь звучала материнская снисходительность. – Брось, наконец, свои бумажки, они тут не нужны. Или ты все забыл?

– Я не сумел от тебя освободиться, – признал он. – Думал, что уже могу. Не сумел.

– Да иди сюда, я тебе помогу. Здесь светлей. Вернуться ведь все равно нельзя. Но освободиться нужно. Иди же.

– К тебе в Америку? – попробовал пошутить он.

Пальцы ее все не могли расцепить какой-то последний крючок. В помещении было действительно светло, белые длинные лампы освещали куб комнаты, похожей на процедурный кабинет. Белая кушетка стояла у стены, белый стеклянный шкафчик с блестящими инструментами.

– Да помоги, что же ты? – услышал он нетерпеливое и поспешил к ней. Она между тем подняла с затылка пышные рыжеватые волосы, сняла их с головы, как парик, открыв седой, стриженный, как у мужчины, бобрик... Но это же она! – с усилием старался не допустить он подмены. Теперь такая прическа стала, наверно, модной, я не уследил. Сейчас увижу ее, вдруг она окажется не похожей на ту, которую я помнил? Пальцы его оказывались неловкими, он тоже не мог расцепить непонятно устроенный крючок. А тело оставалось таким же тугим, оно вздрагивало от попытки сдержать распиравший изнутри смех.

– И этого до сих пор не научился? Не там... ну... не там же...

Голос наполнял его все более мучительной, невыносимой силой – сила эта лишь подтверждала ее власть. Сейчас, сейчас... нельзя же не успеть, – уже предчувствовал он... и откуда

вмешивался этот посторонний требовательный звонок?.. каждый раз что-то мешает.

– Не там, ты опять не там, выше, – тело ее напрягалось уже не от смеха. – Скорей... Помоги же скорей, я задыхаюсь. Развяжи,ними...

Лишь тут она повернулась к нему – он наконец увидел, что лицо до глаз было закрыто белой тугой хирургической маской. Глаза были измучены, нечем было дышать, лоб покрывала крупная испарина...

2

Он очнулся, когда телефон звонил третий раз. Вскочил с дивана. Прозвенело опять. Схватил трубку – нет, опоздал.

Некоторое время Зимин просидел, опустив голову, приходя в себя. Все-таки не успел. Достижение возраста. Научился даже во сне себя сдерживать. Просыпаться вовремя. Всегда найдется чему помешать. И хорошо, если находится.

Который раз, просыпаясь, он чувствовал себя не отдохнувшим – измотанным, как после непонятной работы. Посмотрел тупо на телефон. Не приснился же ему этот звонок? Кто это мог быть? Сабина вряд ли. Можно бы ей позвонить, узнать. Но он, как ни странно, ее номера не записал. И зачем было записывать? Чужой, временный, необязательный. Для нее в том числе. Кто же мог быть еще?

Имена возникали с трудом, неубедительные. Какого звонка он сейчас ждал? Или все еще звучал отголосок не до конца растаявшего сна? Ясные только что очертания бледнели в дневном свете... муравей полз по пустой странице...

Он опять вспомнил про желтый листок, остававшийся в заднем кармане брюк. Достал его, развернул. Бумажка порядочно обмялась о тело.

МУРАВЬИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Ваше дерево отшумело, засохло,
Ваши слова пусты, ваш разум бессилен,

Сок вашей жизни высох.
Ваше будущее позади.
Вещество вашей жизни – пища для нас.
Мы среди вас незаметны
В порах асфальта, в перегородах жилья.
Вы – эпизод нашей истории.
Мы жили до вас и будем жить после.
Преградить нам путь невозможно.
Способные услышать – готовьтесь!
Всякий лепет о смысле жалок,
Если знать, что конец неизбежен
Для отдельного существования.
Ощути себя частицей единства,
Приобщись к бессмертию целого.
Солдат, царица, работник –
Исполнители общей программы,
Выбывший заменяется, не ощутив боли,
Выпавший волос, отрезанный ноготь,
Отшелушившаяся рогивица,
Отработавшая свое клетка –
Разве смерть для нее ощутима?
Организм продолжает существование.
Подключимся же, соединимся, сольемся,
Растворим свое время в вечности,
Безболезненно, незаметно.
Сладкий укус – и вы с нами.
Мы несем вам освобожденье.
Близок День Великой Яйцекладки.

М-да, похоже было на песню современной группы. Или, может, на гимн какой-то новомодной тусовки. С намеком на наркотики, что ли? – рассеянно вчитывался Зимин. Игорь бы написал лучше...

А, вот ведь что ты, наверно, хотел сейчас вспомнить, – сказал сам себе Зимин. Надо сесть и написать письмо Бурлаку. Обратного адреса тот, как всегда, не указал, и был ли у него постоянный адрес? Он и в Москве переезжал от одной подружки к другой. Но ведь Сабина знает, где его там найти. Она перед отъездом еще объявится. Можно будет передать письмо с ней.

Явственно представилась свернувшаяся клубком на громадной кровати маленькая, бедная фигурка. Почему ваша ненормальная, идиотская жизнь обязательно выбивает из равновесия? – вспомнилось ее пьяное всхлипывание. Ничто не может получиться правильно, просто, закономерно, как должно быть везде...

Звонок заставил его вздрогнуть. Он резко очнулся, не понимая, откуда это. Голубь уселся на подоконник, смотрел из-за окна черной бусинкой. Еще один звонок заставил его поспешить к телефону. Неужели это?..

– Приходи... bitte, – услышал он. И ощутил разочарование. Не того ждал. Голос был больной, сиплый. – Я совсем разрушена. Мне хочется пить воду. Я не могу ничего купить... не могу выйти в магазин...

4

Ах, как не хотелось на этот раз уходить из дома! Была надежда услышать звонок еще раз, не тот, другой, вслушиваться снова, заново, вспоминать, восстанавливать, возвращать утраченное...

Продукты он купил по пути. Хлеб, сыр, сосиски, чай, кофе – то, что покупал обычно себе. Что еще? – постарался вспомнить... А... какую-нибудь воду, минеральную.

По пути он зачем-то сделал крюк через знакомую улицу. Словно ожидал опять кого-то увидеть, что-то уточнить, прояснить. Все разветвления в подземном переходе оказались перекрыты красно-белыми лентами, натянутыми между стоек; оставалось единственное направление – то, которое и было ему нужно. Лотчицы торговали теперь наверху, у выхода. Пожилой человек с матерчатой кошелкой, в клетчатой рубашке навывпуск стоял перед бетонной оградой, закрывавшей строительную площадку, прильнул глазом к щели между плитами. С той стороны доносилось урчание техники.

– Не начали еще строить? – зачем-то задержался возле него Зимин.

Тот не сразу отлепился от щели, смерил любопытного взглядом.

– Как это не начали? – сказал, точно ему нанесли оскорбление. – Уже скоро пускать будут.

Зимин захотел посмотреть тоже. Тот уступил неохотно. Из глинистой земли торчали бетонные обломки, железки. Бульдозер на отдалении ездил, разравнивал площадку.

– Так ничего же не видно, – сказал он.

– Засыпали все, потому и не видно.

– Засыпали?

– Строили-то под землей, много этажей. Быстро управились. Когда надо, умеют.

– Культурный бизнес-центр?

– Какой центр? – Голос был теперь не только оскорбленный – слегка презрительный. – С чего это вы взяли?

– Вот, – показал Зимин на плакат, – написано же.

– Читайте, что напишут! Вывески для того и делают, чтоб отвести взгляд от объекта. Я-то мимо тут хожу каждый день, видел, какую технику туда загружали...

Свихнувшийся на тотальной секретности, – отошел от него Зимин. Воспитание прежних времен. Предпочитают объяснения, для профанов закрытые.

Люди на улице были уже, конечно, не те. Второй раз не войдешь в ту же толпу. Даже гадалка не сидела на прежнем месте. Там теперь стоял готовый к услугам гнедой прогулочный конь. Седло на красной шелковой попоне, голова скучающе опущена. Одно знакомое лицо все же возникло: раздутое белое лицо девочки-дебилки. Она тянулась из руки матери, желая погладить животное. Та на сей раз нехотя позволила себя подтащить.

Растопыренные неловкие пальцы приблизились к крупу. Задержались на засохшей язвочке с выпуклым натеком сукровицы, ласковые, неразумные. Оживший среди каменной городской природы запах конюшни, мочи, навоза. С другой стороны к крупу коня потянулся мальчик в очках, лет восьми. Конь вдруг повернул к нему голову, угрожающе фыркнул. И тут Зимин увидел, что под его брюхом вырастает, становит-

ся все длинней детородный орган, влажный, недопустимый. Мать поспешно отгаскивала за руку прочь сопротивляющуюся идиотку. Девушка, державшая коня за уздечку, стала его успокаивать...

Все та же безысходность, думал, продолжая свой путь, Зимин. Прикосновение без мысли, ток, соединивший на мгновение двоих, отклик без понимания, нежность, жалость. Оборванное желание, недосмотренный сон...

Лишь подходя к дому Сабины, он спохватился, что забыл спросить у нее номер квартиры, не может даже набрать нужный код у двери. Вообще это была не беда: расположение самой квартиры на втором этаже, слева, осталось в зрительной памяти. Только бы войти в подъезд. Мысль о неизбежном объяснении с консьержкой заранее заставляла передернуться. Купить, что ли, для нее еще один сборник кроссвордов? – подумал он. Так запасаются в дорогу булкой или костью, чтобы задобрить у ворот сторожевую собаку. Но подходящего киоска по пути уже не встретилось. И консьержка могла быть теперь другая.

Пожилая женщина с собакой на поводке направлялась к подъезду. Очень кстати, отметил он и замедлил шаг, чтобы не опередить их. Женщине приходилось идти, слегка откинувшись назад, это уравнивало нетерпение собаки. Не только удлиненное сухое лицо, вся прямая долговязая фигура ее выражала строгость. Гладкий чернокоричневый пес принадлежал к той самой породе ротвейлеров, которую не удалось угадать в прошлый приход. Не дойдя несколько метров до подъезда, тот все-таки задержался у свежепосаженного деревца, задрал заднюю лапу, чтобы отметить напоследок. Зимину пришлось наклониться, сделать вид, что завязывает распустившийся шнурок. Строгая дама оглянулась на него недоверчиво, но свой секретный ключ в нужный паз все-таки вложила. Электронный сигнал разрешил: входите. Зимин, улыбаясь, как давний милый знакомый, проскользнул за ней вслед.

Все-таки вошел. Лифт ему был не нужен – он, минуя собаку, направился прямо к лестнице.

– Мужчина! – осек его движение голос.

Мгновение Зимин еще колебался: не проскочить ли попросту дальше? Женщина у лифта смотрела на него, готовая подтвердить уже возникшее подозрение.

– Вы к кому? – высунулась из-за стекла консьержка. Она что-то снова жевала. Все-таки та же самая. А бигуди с волос до сих пор не сняла.

– Вот, – показал Зимин издалека полиэтиленовый пакет. – Женщина попросила принести ей продукты. Плохо себя почувствовала.

– А в какую квартиру? – уточнила консьержка и возобновила жевание.

– Вы же меня помните, – попробовал уклониться от ответа Зимин. – Вчера только разговаривали. Вы еще письмо мне давали, я опустил.

– Ну-ка, ну-ка, не спешите, подойдите сюда. Подойдите, я говорю!

Лифт уже опустился, ждал. Пожилая женщина медлила входить, дожидалась ясности. Ротвейлер что-то искал, обнюхивал возле ее ног. Неужели другая? Капот на этот раз голубой. До чего же похожи! Под потолком вестибюля, у высокого окна, затрепыхалась птичка. Залетел непонятно зачем воробей, попался.

– Так вам сразу! А документы у вас при себе есть? – спросила консьержка. Телевизор за ее спиной показывал беззвучный рекламный ролик. Кушетка тоже была закрыта теперь голубым покрывалом. Цветок в горшке перед окном вот-вот был готов распусться.

– Еще вам документы, – попробовал откликнуться по-свойски Зимин. – Я хотел вам еще один журнальчик с кроссвордами прихватить. Не нашлось по пути.

Женщина с собакой все-таки вошла в лифт. Но еще напоследок помедлила, прислушиваясь к продолжению.

– Да журналов новых уже не осталось, я все их заполнила. Вон, – показала она взглядом на стопку в углу, – собрание энциклопедий.

– Неужели все знаете? – притворно изумился Зимин. Нет, та же самая.

– Так ответы же есть в конце, можно посмотреть, чего не знаешь. Неужели когда-нибудь новых не будет? Только предсказать, что все клетки заполнятся. Книги читать трудно, глаза устают. По телевизору этих дур слушать обидно...

Лифт звучно дернулся, тронулся. Консьержка неожиданно поперхнулась, закашлялась. Зимин почувствовал, что теперь может идти.

– Мужчина... да хлопните же вы меня по спине, – пробились сквозь кашель женщина. – Стоите... не понимаете...

Просунуть руку за стеклянную перегородку, в маленькое окошко, было несложно, сложнее было изогнуть ее, чтобы добраться до повернувшейся спины. Женщина справилась с кашлем прежде, чем Зимин успел ей помочь, перехватила руку, задержала в своей. Дохнуло душными духами.

– Какие у вас пальцы тонкие, интеллигентные, – оценила она. – И сильные. Вы музыкант?.. Почему говорили, что не придете больше?.. Пойдите, пойдите, я еще посмотрю ладонь... Ну, я такого еще не видела: две линии жизни! А линия любви... ой, это же просто смех!.. и вот тут что? Нет, помолчу пока, помолчу... Да ладно, идите, идите, – согласилась она отпустить. – Это я так. Думаете, одна радость сидеть все время, как насекомое в коробке, смотреть, как проходят мимо. Особенно иностранцы. Может, все теперь вообще иностранцы? Своих не увидишь. Конечно, женщине надо сочувствие. Раз уже обещали. Вы чего ей купили? Сосиски у нас в магазине, который за углом? У нас бы я не советовала... Ну, дело ваше. Кому надо, свое возьмет. Женщины теперь не просят, они берут. Вот эта старуха, видели? она со своим ротвейлером живет. Приучила его лизать сладкое... Да ладно, ладно. Входи, раз попался. Ты только на вид колючий, а тронь – мя-агонький. Небось, уже заждались? Посмотрим, как выйдешь...

Сумасшедшая, – подумал Зимин. Или обе.

Он нажал пальцем звонок, раз, другой – к двери никто не подходил.

Вот тебе и на. Не может встать? Спит? И что же делать без ключа? Или звонок не работает?

Постучал кулаком о притолоку – дверь была в мягкой обивке, по ней даже колотить ногой не имело смысла. Толкнул ее плечом. Что еще?.. Не догадалась оставить открытой. Как я выходил в прошлый раз?

Еще раз покрутил ручку, потом потянул на себя. Дверь открылась неожиданно, как отгадка – надо было лишь сообразить, что загадки-то не было. Отвык от нормально открывающихся дверей. В домах советской постройки двери должны были открываться внутрь жилья, чтобы при надобности проще было вломиться, налегая, представителям власти.

Сабина лежала, маленькая, на краю громадной кровати. Из-под одеяла выглядывала голая нога с крашеными ногтями. Глаза ненадолго задержались на вошедшем, ушли в сторону, равнодушные, без выражения. На губах засохли белые корочки, вокруг рта было тоже что-то вроде засохшей пены, не белой, как у младенцев после кормления – грязно-желтой. Прическа не стала растрепанной, но утратила безупречность, остатки косметики скорей пачкали лицо, чем прикрашивали.

– Перепила? – понимающе улыбнулся, наклоняясь, Зимин. Пахло от нее не перегаром, чем-то химическим, тошнотворным. Она пошевелила сухими, в корках, губами – звука не получилось.

Ни разу в жизни еще не приходилось ему приводить в чувство женщин, оказавшихся в таком состоянии. Обходилось до сих пор, как ни странно. Простая, отчасти брезгливая жалость мешалась с досадой на ненужные, навязанные хлопоты, заставившие оторваться от другого, своего, как раз к этой минуте наметившегося, назревавшего, важного.

Первым делом он подался на кухню. Электрокипятильник обнаружился быстро, заварочный чайник сразу не нашелся, и не хотелось искать. Невелико удовольствие – рыскать по

чужой, непонятной кухне. Чай был в пакетиках, он положил в чашку сразу два – нужен был покрепче. А сахару вот не догадался купить, и не было его тут. Лишь остаток шоколада в мятой обертке завалился на кухонном столе.

Вода закипела быстро. Он принес чашку в комнату, поставил на тумбочку возле кровати. Надо было ее приподнять, усадить. Под одеялом Сабина оказалась в халате. Край одеяла был запачкан чем-то липким. Дотронувшись до халата, Зимин обнаружил, что запачкан был и халат. Ее рвало, понял он брезгливо.

Намочил в ванной край полотенца, подошел отереть ей лицо.

– Я ничего не хочу, – сопротивлялась она слабо. – Я не могу.

Ее лихорадило. Зубы стучали о край чашки. Вдруг ее скорчило в рвотном приступе. Но уже не оставалось, чем рвать. Желчная, цвета птичьего помета, струйка стекла на подбородок.

– Ну-ка, ну-ка, – отодвинулся невольно Зимин. – Знаешь что? Вставай, пойдем в ванную. Горячее тебе не помешает.

«Ты» прозвучало естественно, незаметно. Он все-таки заставил ее подняться, повел, поддерживая подмышкой, но слегка отстранясь, чтобы не запачкаться.

– Я ничего не хочу, – слабо повторяла она. – Я не больна, как ты не понимаешь? Ты не умеешь сочувствовать, нет.

Зимин ввел ее в ванную, подержал, проверяя, сможет ли она стоять сама. Отнял руку.

– Стоишь? Постой немного, я тебе сейчас налью ванну.

Он попробовал рукой воду, незаметно смывая при этом следы липкой гадости. Пусть лучше будет погорячее. Правильней было налить ванну сначала, потом поднимать с постели ее. Но, пожалуй, лучше ей сначала ополоснуться в душе, ванну она сейчас только испачкает.

Оглянулся на немку. Она стояла, покачиваясь, с бессмысленной улыбкой на губах.

– Ты сможешь постоять под душем?

Она откликнулась горловым звуком, похожим то ли на стон, то ли на смех. Рука медленно расстегивала одну пуговицу за другой. Самая нижняя пуговица осталась не расстегнутой, нагибаться она не стала, просто высвободила плечи, халат стек под ноги на пол. Под ним не было ничего.

Зимин помог ей перелезть через край ванны. Осторожно брызнул водой.

– Так не горячо? На, держи... Ты можешь держать сама?

Она взяла в руку душ. Он сразу же дернулся, Зимина облило горячей водой.

– Да держи, дура! – прикрикнул он.

Сабина смеялась. Смех казался теперь совсем другим – оживавшим.

– Дурак одетый. Я не больна, как ты не понимаешь?

Он стянул мокрую рубашку, быстро скинул все остальное, перелез к Сабине. Взял душ, поднял над ее головой. Волосы сразу потемнели, опали, как опадают взбитые, слишком пышно взбитые сливки. Какая там стальная прическа? Лицо стало меньше, незащищенной и трогательней – лицо мокрой, постаревшей девочки. Мокрая голова наклонялась, и сама она медленно опускалась под струей воды. Сначала на корточки, потом стала перед ним на колени.

– О, – сказала она и тронула кончиком языка. – О-о, – сказала, отпустив и облизывая языком губы. – *Du bist süß wie Honig...*

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Забыть про часы, не завести, оставить на стеклянной полочке в ванной – экспонат для кого-то, кто когда-нибудь полюбопытствует. Зачем был этот предмет? В нем совершали круги две стрелки, больше не движутся. Нет надобности. Незачем отсчитывать цифры, делать черточки или зарубки. Здесь, внутри стен, они не имеют значения. Выходить отсюда не требуется. Паучиха скучает в сторожевой засаде, дожидается, не дрогнет ли сигнальная ниточка. Пускай себе ждет. Не нужно даже открывать окна, затененные полупрозрачными жалюзи: прохладу и свежесть в отгороженном пространстве обеспечивало предназначенное для этого устройство. Необходимое пропитание приносит сюда женщина. Ей выходить понадобилось хотя бы для того, чтобы привести в порядок прическу. Восстановить вполне прежнюю не удалось, мастер был не тот. Зато вернувшись, рассказала с довольным смехом, что на нее по пути несколько раз оглядывались мужчины. И не в прическе было дело, нет. Ему она принесла бритвенный прибор, рубашку вместо испачканной, несколько смен белья, носки – с избытком, чтобы не думать о стирке. Хотя в такую жару можно было вовсе не одеваться. Есть еще какие-то желания? Скажи...

Не было никаких отчетливых мыслей. Странное умственное состояние. Чтобы совсем не расслабиться, попробовал утром делать гимнастику. Она, голая, наблюдала с постели,

как он пытается отжиматься от пола. Внезапно подскочила к нему, оседлала. Он ощутил поясницей жар между ног всадницы, с трудом выровнялся на коленях. Она прищпоривала его, чтобы мчал, куда ей нужно, веселясь, дичая, чувствуя уже своим телом, что он долго вынести так не сможет, ему уже надо повернуться для другой, настоящей, желанной скачки – и кто в ней кого станет прищпоривать? Она, снова она! Маленькие грудки ее колыхались, она вскрикивала, торжествующая, овеваемая диким ветром, изголодавшаяся, ненасытная. *Es trägt der Besen, trägt der Stock, Die Gabel trägt, es trägt der Bock!*¹ о, какие слова, какие звуки могла, оказывается, вспомнить в своем языке женщина, только что элегантная, деловитая, вышедшая на улицу в облаке искусственных запахов – все они были теперь смыты, перешиблены, проедены другими, собственными, запахом пота, острого, щекочущего ноздри, как муравьиная кислота, головокружительного лесного дурмана, болотистых темных недр, из которых поднимались, непристойно булькали, клокотали, лопались пузыри. Расползаются туманными ключьями построения разумных философов, грезы поэтов, болтается, волочится по земле разодранная забытая упряжь: кто это казался себе таким обузданным, рассудительным? Что мы о себе знали? Прорывается, прет наружу – есть чего испугаться. Ничто никогда не исчезало, затаилось, притихло, дожидалось своего часа – спроси этого седого голого дикаря, он знает, он тоже умеет вспомнить слова.

2

Ей нужны были от него слова, они на нее действовали особенно. Касалась его легкими пальцами, скользила медленно от груди вниз по волоскам, как по ореолу, окружавшему тело.

– Как это называется по-русски? – спрашивала полушепотом.

¹

Сядь на козла, садись на шест,
На вилах соверши свой въезд.

(нем., перев. Б.Пастернака)

– Ты сама знаешь.

– Но я хочу слышать от твоего языка. У тебя такие слова! Я даже не думала, что можно так любить за слова языка. Я буду говорить по-немецки, а ты по-русски... нет, лучше наоборот. Я хочу на всех языках... слова сладкие на языке. Как хорошо: по-русски это тоже язык, да?.. вот этот?.. А это что? Говори!

– Как я могу... – с трудом пробивался он, – когда язык... когда губы заняты?

– О, это тоже губы? А это?..

Она дожидалась, предвкушала, вытягивала из него самые грубые непристойности, повторяла сама. В чужом произношении их грубость звучала как-то видоизмененно, заставляла сглатывать слюну.

– О-о, – не бормотала она – клекотала, покусывая ему плечо, чтоб заглушить рвущееся из горла, и потом опадала, раскидывала изнеможенно руки... – Это безумие, да? Я не думала... не знала... не могла этого ждать... Подожди, еще немного не уходи. Ты не хочешь меня оставлять? Я старая... я знаю, что старая.

– Я тоже не юноша, – отвечал он. Самое честное, что можно было сейчас произнести. Но что же это в самом деле было такое? Не с чем было сравнить. Вообще ничего не мог вспомнить, и незачем теперь было стараться. Прежнее совсем куда-то ушло. Отпустило, угасло...

– Хочешь выпить еще? – предложила она. – Подкрепиться?

– Ты называешь это подкрепиться? – слабо возразил он, но стакан у нее взял. Себе она не налила; если теперь и пила, то совсем чуть-чуть. – Тебе не кажется, что я пью слишком много?

– Не много, – сказала она. – Тебе хорошо пить. Ты не старый, ты только седой. И тут тоже седой. – Потрогала, стала перебирать, слегка поправлять пальцами. – Это красиво. Хочешь, я тоже разрешу здесь у себя отрасти? Я сама даже теперь не знаю, как тут может вырасти, если разрешить. И вот тут, под руками, под... мышками, да? Нас учили следить, чтоб

не росло, это считалось неприлично. Я больше не буду брить. Хочешь? Скажи!

Тронула себя, средним пальцем отметив устье прозрачно прикрытой ложбинки.

– Ты не представляешь, что здесь может вырасти. Я сама давно видела, но потом стала бояться. Мне сказали: это, как у ведьмы. Черный куст. Нельзя, чтоб так было видно... А если я настоящая ведьма? – сказала вдруг с тем же странным смешком. Что-то подпирало, просилось – не могла удержать. – Только сама боялась знать. Но меня угадали.

– Кто это тебя угадал? – вяло прислушивался он к ее болтовне.

– Одна русская ведьма. Ты ее тоже видел. Она сидит тут, внизу.

– Это какая?

– Что какая?

– Их две? – пояснил он полувопросительно.

– Одна. Почему две? Я чувствовала, что ее можно бояться, казалась не совсем нормальная. Всегда хочет говорить, как две женщины. Она знает, что ты здесь, она все знает. Я ей дарила бутылку, чтобы немного молчала. Но это была ошибка. Когда я возвращалась, она была хорошо пьяная. Она поманила меня пальцем, я подошла. Почему ее надо слушаться? Но я подошла. Хочешь, говорит, я тебе тоже кое-что подарю? Я тебя разглядела... О, это нельзя повторить, что она мне говорила. Так бесстыдно. Мужчины не знают, как умеют говорить женщины. И здесь, и у нас тоже... Нет, я тебе скажу. Я хочу сейчас быть бесстыдной. Дай мне тоже глотнуть из твоего стакана, сейчас я хочу... О, хорошо!.. Я, говорит, тебя разглядела. У тебя волосы, где ты не красишь, черные. У тебя мать была черная ведьма. Но я тоже ведьма, я тебя угадала.

– Зачем ты эту ненормальную слушала? – поморщился Зимин. – Да еще когда она пьяная.

– Нет, не просто пьяная, – помотала головой Сабина. – Ненормальная, да. Но про маму тоже можно было сказать... я не знаю. Если она догадалась? Мне одна старая соседка так говорила, в деревне, где мама жила до меня. Когда меня еще не

было. Я только один раз туда приехала. Она сказала: у тебя глаза, как у твоей матери. От ее глаз умерли две моих коровы.

– О, господи! – поморщился Зимин. – И у вас этот вздор, эти деревенские пересуды.

Он словно впервые попробовал по-настоящему присмотреться к ее глазам. Зрачки в затененной комнате были расширены, обвод вокруг них отсвечивал желтизной.

– Да, вздор, пересуды. Я мало умела спросить, я не старалась. Мама хотела быть белокурой арийской девочкой, но у нее была репутация, да. Почему она после войны не хотела жить, где жила? Она мне никогда ничего не рассказывала. Я совсем мало про нее знала. Я ее боялась. Она меня не любила. Потому что моя сестра умерла, а я такая здоровая.

– Перестань городить чушь, – попытался ее остановить Зимин. – И не начинай снова пить, хватит.

– Чушь? Городить? Я не знаю, как это... нет, дай мне совсем твой стакан, я хочу допить до конца. Я столько лет была замороженная. Она меня посылала в такую далекую школу, строгую, как монастырь. Ей надо было всегда держать меня в своей власти. Даже здесь, теперь. А я теперь сама хочу. Я хочу быть ведьмой. Хочу! Тебе так ведь тоже нравится?.. О!.. Нравится, это не спрячешь. Я тебя возьму сама, лежи так. Я ведьма! Я ведьма! О-о!.. Почему ты не спрашиваешь, что эта русская ведьма хотела мне подарить? Она сказала: у меня есть одна хорошая настойка, чтобы он любил, могу поделиться. Денег не надо, только потом разок поделишься со мной тоже. Как смешно, да? Я сразу не поняла... Почему ты так смотришь?

Он попробовал приподняться на локтях.

– Ты это что, серьезно?

– Нет, конечно нет, – спохватилась она. – Почему ты встаешь? Я хочу еще пить. У меня истерика. Не слушай. Это глупость. Я вру. Я просто хочу иногда быть ведьмой. Разве это нельзя понять? Я устала от нормальной жизни. Не слушай. Ты такой сильный, тебе ничего не надо. Если захочешь, есть настоящие таблетки, немецкая фармацевтика. Но это если захочешь. Нет, тебе зачем? Я не ожидала, правда. Я даже немного

устала. Ты тоже устал, да? – молчания она долго не выносила, начинала беспокоиться, требовала от него слов. И опять, не дожидаясь, спешила продолжить сама, чтобы заглушить, заговорить прежнюю неосторожную болтовню. – Тебе же не плохо, да? Не бойся, я тебе скоро дам отдохнуть. Может, завтра, послезавтра. У тебя будет несколько дней...

3

Вечером можно было поднять жалюзи, не включая света. Просторное окно превращалось в громадный экран. Вместо неба зажигались, не дожидаясь сумерек, разноцветные огни рекламы, перемигивались, крутились, исчезали, вспыхивали, менялись, но неизбежно повторялись снова. Их набор был так же ограничен, как набор новостей, которые пробегали недолгой электрической строкой где-то на самом верху окончательно растворившегося в ночи здания. Футбольные матчи заканчивались с почти одинаковым счетом, курс доллара менялся не больше, чем температура воздуха за окном, и все это значило не больше, чем свечение точек, сложенных в переменчивые буквы одного из алфавитов. Включать телевизор не имело смысла, там воспроизводились те же новости, та же реклама.

Предметы в таком освещении совсем теряли реальность. Расплывшееся в сплошную тень кресло дремотно поджидало неосторожную добычу. От того, что было днем мебелью, оставались черные вертикали и перекладки. Какую-то из них можно было назначить полкой, какую-то столом, какую-то подставкой для телевизора. Гигиенические, отблескивающие заоконными огоньками поверхности. Сидуэты быстроменяемой аппаратуры без прошлого и будущего. Кровать – функциональное устройство для сна, бессонницы и удовольствий. Журналы и книги на полках – элементы интерьера, не более. Несколько фотографий или картинок в рамках – пятна среди пятен.

Жизнь нигде, – оценивал Зимин свое рассеянное состояние. Геометрическое пространство, ничейное жилье, комфор-

табельная выгородка. Выпал из времени и уже с трудом вспоминаешь, что осталось там, в прежнем месте или в другом измерении. Что-то, что называлось заботами, работой, мыслями. Нет желания ничего менять. Превращен в то, что есть. Счетчик выключен. Если и щелкает, то не здесь...

– Тебе понравится мой дом, – говорила Сабина, закуривая. – В хорошем пригороде, зеленый газон. Я сама там бываю редко, надо много ездить. Но будет хорошо немного заняться хозяйством, самой готовить еду. Нас в школе когда-то учили, я вспомню.

– Сменить бы картинку за окном, это надо, – ответил Зимин не ей – своим мыслям. Не сразу подключился к ее словам. – Одна и та же картинка, – пояснил он, – вот что может утомить. Если бы менять ее в нужный момент по настроению.

– О это была идея Боба! – оживилась Сабина. – Моего последнего... как это теперь говорят? – друга. Он сделал очень удачную программу для фирмы, это в Silicon Valley, в Америке, получился успешный бизнес. Вот у кого дом – это надо действительно смотреть. Мы первый раз подъехали к нему в машине. Вдруг зажигается много огней в саду, в окнах. Я подумала: как много здесь персонала. Нет, он сам оживал, просыпался. Он приветствовал хозяина издали, как будто узнал. Потом залаяла собака. Я ждала, что сейчас она выскочит нам навстречу...

Сабина оживлялась все больше, вспоминая подробности. Собака была, оказывается, электронная. От нее существовал только голос. Без собственной прислуги Боб мог обходиться, приходили, когда надо, от фирмы.

– Утром голос женщины сказал нам: «Кофе готово, дарлинг». Это был голос его прежней подруги. Сейчас она, возможно, говорит еще моим голосом. – Усмехнулась, затягиваясь сигаретой. – Я, конечно, не могла с ним оставаться всегда, это невозможно. Никакая женщина бы не могла. Его секс... нет, я это не буду говорить, дело не в этом. У него ни на что нет времени. Он с детства очень любил собак, но не нашел времени завести настоящую. Он всегда любил музыку, у него собрались горы записей, дисков – вся музыка в твердом виде.

Но слушать некогда. Про книги вообще нет речи. Ему каждую минуту надо иметь коммуникацию. Да, вот человек, который не может быть одиноким. При себе должен быть всегда мобильный телефон, пейджер, разные... как это по-русски? Handy, Laptop. Даже если шел в ресторан, в бассейн, уезжал к морю. Он должен быть всегда доступным для информации, которая его ищет, всегда подключен к сети, двадцать четыре часа в сутки, без выходных. Иначе надо сойти с дистанции. Как же иначе? Так будет устроена жизнь будущего: каждый всегда может быть связан с каждым. Я тоже могу связаться с ним хоть сейчас, но зачем? Ему тогда было тридцать четыре года, он миллионер. Он мог бы теперь совсем не работать, но не знает, как это сделать. Усталость, депрессия – у него этого нет. У него все в порядке. Даже слишком все в порядке. В Италии ему ремонтируют небольшой замок, он не хочет туда ехать, он уже везде был...

Сабина поискала, куда стряхнуть пепел с сигареты, дотянулась до пустого стакана.

– Да, – спохватилась она, – я начала говорить о другом. Однажды он мне рассказал свою новую идею. Сделать в доме такую стену, чтобы она могла меняться, когда я захочу. Ты хочешь оказаться в джунглях, слышать, как кричат обезьяны, видеть их – будет все. Даже запахи, даже горячий воздух, это возможно. Это не проблема. Проблема есть другая. Когда не знаешь, чего хочешь. Это он сказал. Я тогда рассмеялась.

Она засмеялась и теперь.

– Он ведь тоже немного художник. Он стал говорить мне про совсем фантастический проект. Собираются подробные данные про человека, досье про его жизнь, характер, вкусы, темперамент, цвет волос, я не знаю, что еще. Все. Вводятся в мощный компьютер, обрабатывается. Сканируются изображения. Но компьютер должен реагировать не на текст, не на клавишу, даже не на голос, а на мысли в мозгу. То есть он будет откликаться на мысленные желания, выполнять их раньше, чем человек сам понял, чего он хочет. Вот идея. Компьютер может подсказать сам. Предложить, увлечь, дать смысл. Я смеялась, но он говорил, это будет можно. Если электрони-

ка откликается на прикосновение, зрачок глаза, почему не может на мысль? Как ты думаешь?

Зимин потер лоб. Что-то творилось с его головой. Американца только что звали Павлик... Очнулся, как от странного видения.

– Вообразить я могу все, – не сразу ответил он. – Но будет ли хорошо, вот что бы понять сначала. Мысли, желания, в которых сам не успел себе дать отчет – это может быть опасно.

– Да, да, – отозвалась она без интереса. – У тебя идеи художника, он человек техники. Вас хорошо бы соединить. Он мне говорил, уже есть настоящий заказ от фирмы, это обещает большой бизнес. Тебе тоже бы нашлась функция, а? Вы здесь умеете больше воображать, потому что еще мало знаете. Европа, Запад уже стареет, поэтому любит возвращаться в детство. Хочет что-то придумывать, чтобы радоваться жизни... Что ты на меня так смотришь, как будто понимаешь мои глупости? Ты тоже можешь сказать, чего сейчас хочешь? – спросила вдруг с непонятым раздражением. – А? Или ничего не хочешь? Или не знаешь, чего хочу я? Выпить еще, вот чего. Не бойся, это не называется пить, это помогает...

4

В разговоре ее, в повадках все заметней начинала проявляться нервность. Закуривала сигарету за сигаретой, выпускала дым из ноздрей, ходила по комнате, не докуривала, придавливала окурки о что попало, оставляла их в разных местах.. Вдруг стала перебирать видеокассеты на полке – может, что-нибудь посмотрим?

На коробках были изображения полуголых и голых красоток, они томно свивались, ласкали одна другую.

– Черт, эта Лор не интересуется, кажется, ничем, кроме бабьих лизаний, – поморщилась Сабина. – Мужчины ее совершенно не интересуют, они для нее – бр-р! – показала она гримасой. – Как большие противные насекомые, так она мне говорила. Она и меня хотела привлечь в свои убеждения. Ты по-

чувствуешь настоящий вкус, будешь лучше сознавать свою женственность... Нет, это было не очень. Когда я была девочкой – это виделось хорошо, может быть. Но тогда это было нельзя. А сейчас... О, какая картинка, ты посмотри! Тебе это может нравиться, да? Почему ты молчишь? Не хочешь признаться?.. А это что у нее? У-у-у, какой предмет! – вытащила спрятанный за кассетами изрядных размеров муляж. – Какой громадный! Ей такой нужен? Тебе нравится, нет? Или, может, раздражает?

Нажала кнопку, устройство задрожало у нее в руке. Она обхватила пальцами, пробуя ощущение, потом выключила, кривясь.

– Нет, такой не надо. А что надо? Почему ты не отвечаешь? Ты не хочешь мне отвечать... О, смотри, какое название! – нашла вдруг она. – The hardest porno-suite. А коробка совсем без картинки, чужая. Запись без лицензии. Хочешь посмотреть? Я не знаю, чего я хочу... но посмотрим. Я хочу бомбу...

Она включила видео. Сначала возникла музыка, нащупывающая, прерывистая, тихая. Переливчатые цветные пятна не до конца фокусировались, расплывались снова, понемногу проявлялись отчетливей, обретали объем. Кольхались, отблескивали под солнцем зеленоватые волны. Смуглый голый человек раскорячился на обломке большой доски, иногда поднимал голову, вглядывался вперед. И вот весь приподнялся на корточках, в измученных глазах засветилась надежда. Остров возникал из тумана, силуэт шестирукого божества на вершине холма. Легкий пенистый прибой омывал берег, музыка вторила накатам и откатам волны, ласковому плеску на мелководе. Человек выбирался на гладкий склон, не вставая на ноги. Он всем телом прильнул к нему, прикоснулся губами – склон вдруг всколыхнулся вместе с музыкой, словно сам был дышащим загорелым телом. Шевельнулись сразу шесть конечностей все еще непроявленного силуэта...

Зимин с недоумением смотрел на экран. Приоткрылся внимательный человеческий глаз без ресниц, вместо бровей – пучки ярко-оранжевых длинных щетинок. Что-то все более очевидное проявлялось в очертаниях дышащих нежных хол-

мов, ложбин, слегка еще прикрытых туманом. Выбравшийся на берег был здесь, оказывается, не один. Похожие на него передвигались по мягким округлостям. Сверху это напоминало копошение насекомых. Сабина покривилась в невольной брезгливости. Кто-то успел украсить себя цветистыми перьями, спины разрисованы были узорами. Порой двое сталкивались, поднимались угрожающе во весь рост. Телодвижения победного торжества сменялись танцем любовного призыва. Странно, что спереди этих возбуждавшихся все больше самцов не показывали – при таком-то названии!

Одновременно что-то менялось вокруг. Обозначались явственной впадины, приоткрывались устья ложбин, начинающиеся расселины, расправлялись, вздрагивали влажные лепестки. Все выглядело лишь отчасти реальным – какими компьютерными приемами так видоизменялись исподволь очертания? Неуловимо стали преобразаться тела. Они еще казались человеческими, но постепенно вытягивались, упрощались, вырастали, темнели, и вот на безглазой головке оставался лишь крохотный беспомощный ротик. Бывшее только что существом с выпученными от страсти глазами вслепую тянулось к темной распахивающейся глубине – уходило в нее. То, что оставалось снаружи, подергивалось, совсем уменьшенное, незначительное, шевелило крохотными конечностями. Музыка следовала за совершавшимися все более мощно движениями. Уже не наслаждение слышалось в этих ритмах, в конвульсиях, взрывах, трепете – предчувствие назревающего, неизбежного ужаса. Всклипы, чмокание, стоны, верещанье, мычанье, вой существ, не понимавших, во что они оказались превращены и кем, какая сила заставляла их делать то, что они делали. Шестилапая владычица зачарованного острова уже готовилась приступить к своему торжеству. А вы думали? Как это у вас смешно говорили: стать плотью единой? Брошу сердце свое к твоим ногам – ах, красиво же звучала сейчас эта ария, по-итальянски, что ли? Нет, мне нужно тебя заглотать целиком, присвоить всего, без остатка, сделать частью себя, и кишочки сладенькие, и сердечко, и что там у тебя еще?.. Двигутся в механическом ритме чудовищные жующие челю-

сти, похрупывают. Гулкие удары литавр, последние судорожные шевеления...

Сабина вдруг резко выключила рекордер.

– Я не могу это смотреть. Меня сейчас стошнит. Какая-то отвратительная перверсия. Я понимаю Лор, как она говорила, что это мерзость... Почему ты пожимаешь плечами?

– Я уже путаюсь, как теперь что называется. Извращением, кажется, принято было считать то, от чего не бывает детей. От чего они бывают, то естественно.

– Не понимаю? – переспросила Сабина. – Почему естественно? Зачем она их ела?

– В природе такое бывает. Сделавшие свое дело становятся не нужны, другие заботятся о потомстве. Мы не досмотрели до конца, там дальше, может, дойдет до этого.

– Ужас! – передернуло ее снова гримасой.

– Что ужас? Дети?

– Почему ты говоришь: дети? Ты бы этого хотел? Для тебя извращение – то что со мной, да? Скажи!.. Почему ты не отвечаешь?

– Странные вопросы.

– А ты думаешь, я уже не могу спрашивать? – В голосе ее зазвенело напряжение. – Меня это просто уже не касается, да?..

До чего, однако, он стал туго соображать! Вот к чему она, оказывается, клонила? Он действительно ни о чем таком не думал, считал это ее заботой.

– У тебя есть основания беспокоиться? – проговорил, наконец, осторожно.

– Ты не хочешь ответить, ты всегда не хочешь ответить! – Смяла сигарету нервным движением, придушила о пепельницу.

– Мне просто не приходило в голову. Надо перестроить мозги. Переварить... Ты уже уверена?

– Я не знаю. Я считала, что у меня этого не может быть. Почему так? Я не хочу.

– Не спеши, – проговорил он. – Есть время подумать.

– Подумать? Ты понимаешь, что это такое? Какой это конец всему?

– Почему конец? – неуверенно пробормотал он. – Можно считать началом...

Зачем я это говорю? – прислушался сам к себе.

– Ты говоришь, как наивный идиот, – с ней опять начиналась, похоже, истерика. – Я старая, старая! Я хочу быть старой...

Тень оконных жалюзи охлаждала легкими полосками кожу. Беззащитность нежных лопаток, хрупкость позвонков. Он погладил ее по голове. Волосы были опять жесткие от лака. Она поймала его руку, поднесла к губам, стала целовать пальцы...

Я должен что-то сейчас чувствовать, прислушивался к себе Зимин. Мысли словно растеклись от жары. Выползло откуда-то слово яйцекладка, запуталось, не желало убраться... Со мной творится неладное, подумал он. Надо все-таки по-настоящему собраться с мыслями. Понять по крайней мере, чего хочешь сам...

5

Перед тем, как отправиться по делам, Сабина уселась звонить по телефону. Разговорами это назвать было нельзя, собеседника на другом конце провода не было. Она в чем-то убеждала записывающее устройство, один раз по-немецки, другой по-английски. Раздражение, нетерпение, возмущение обращены были к прибору; когда не понимаешь язык, интонация кажется особенно неестественной.

Все. Теперь, наконец, надо действительно встать, сказал себе Зимин. Одеться, обуться по-настоящему. Было чувство, словно что-то начинало уже меняться, само, независимо от решений и обоснований – от одного лишь сознания. Неужели возможен еще такой поворот? Начало еще одной жизни? Со всем, что в этой жизни бывает? В возрасте, когда уже перестал думать о таких переменах... еще не укладывается. И лишь на-

чинаешь ощущать, что до сих пор даже еще не знал, сколько может быть путающего, бездонного в области, которую никакими известными словами не описать. По горизонтали: возвышение сердца, подъем царя к жрице на семиступенчатое святилище Мардука, то, о чем поет Суламифь, шесть букв, последняя мягкий знак. По вертикали: сладкая ловушка природы, губительный обман, цель которого – продолжение общей жизни, область насилия и смерти. Буквы те же. Одно и то же слово надо повторять в словаре под разными цифрами, как омонимы. На других языках другие, проблема за переводом. Что называлось греческим словом агапэ? О нет, это уже совсем другое. Любовь как божественная благодать или что-то в таком роде. Все ответы неправильные, попробуйте сначала проверить. Если есть, что проверять. Подсказки не полагается, только запугаетесь еще больше. Попробуйте пойти по второму круту. Только разве он окажется тем же? И опять не готов ответить...

Внезапно зазвонил телефон. Впервые услышал здесь Зимин этот звук, странно чужой, незнакомый. Поколебался, подойти ли. Откликнуться на иностранную речь он бы не смог – звонили не ему. Звонок повторился еще раз, другой – не дождался, замолк.

Что если и меня сейчас кто-то вот так же не может дозваться? – подумал он. Звонит, и некому подойти... Он стоял, тупо уставясь на аппарат. Лишь тут впервые заметил на нем в окошке электронные цифры. Пульсировало двоеточие, цифирки сменились. В самом деле сменились. 10.45 – 11 Junі. А год какой? Какой сейчас год?..

Зимин потер переносицу двумя средними пальцами. Рубашка оставалась надетой лишь на один рукав, другой повис. Он продолжил одевание. Телу было непривычно вспоминать ткань, ступням тяжесть обуви. Что-то еще он не мог найти, не мог вспомнить. Какого числа я сюда пришел?.. Прошелся взад-вперед по комнате. Остановился возле входной двери, автоматически потрогал ручку. Нажал, толкнул, потянул на себя. Почему каждый раз эта проблема с дверью? Значит, Сабина заперла его снаружи, а ключи унесла с собой...

Едва он это подумал, дверь отворилась. Сабина вернулась раньше, чем он ожидал. Чмокнула его в щеку, сунула в руку пакет с покупками, оживленная, повеселевшая, какая-то вздернутая. И тут же скрылась в ванной.

– Ты несколько дней будешь отдыхать, да? – сказала, выходя.

– Что-нибудь?.. А, – понял он, не договорив. Значит, обошлось само собой.

– Я смотрю, ты уже оделся. Захотел сразу уходить?

– Если ты меня не запрешь, – сказал он. – Я не могу без ключей открыть дверь.

Она засмеялась. Ключи были нужны, чтоб открывать дверь снаружи. Изнутри это делалось вот так, просто...

– Мне никто не звонил? – спросила, выкладывая на стол свертки.

– Был какой-то звонок. Я не успел подойти, – соврал он.

– О! – сказала она и включила автоответчик. Голос, показавшийся похожим на Сабинин, заговорил по-немецки, с той же интонацией, приспособленной для разговора с прибором, не с человеком, но более спокойной, легкой. Она слушала и веселела.

Как все удачно складывалось, одно к одному! Это была новость, которой она ждала. У подруги получил поддержку желанный проект. В Бремене был задуман целый небольшой квартал – поселение только для женщин. В средние века существовали такие общины бегинок, не совсем монашеские. Благочестивые одинокие дамы просто поселялись здесь обособленно, без мужчин. Мужчины могли им наносить не более чем визиты, по взаимному желанию и согласию. Это будет своего рода ретро, объясняла Сабина. Ей предлагалось в проекте участвовать.

– Представляешь? – философствовала она, наливая себе в стакан колу. – Общество помогает снять проблемы тем, кто хочет иметь полноценное одиночество. Одиночество как привилегия. Проект будущего века: жить в свое удовольствие. Уже есть много желающих, есть спонсоры. Ты поедешь немного потом, да? когда я пришлю вызов?..

Все правильно, так и должно быть, – повторил он, когда она снова ушла. Не до конца составленная в уме картинка рассыпалась от легонького толчка, и стоило ли ее собирать снова? Домик, дым из трубы, пуховые облака в небе, кошка на коврике, собачка под столом. А посерединке дети. Ссыпь все обратно в коробку. Смешно, в самом деле. Учись у женщины быть ближе к реальности. В реальности все осталось, как было, привести в порядок надо что-то внутри...

У самой двери его остановил все тот же телефонный звонок. Некоторое время он выжидательно смотрел на аппарат: еще разок, и переключится на автоответчик. Нет, Сабина, видно, на сей раз не сочла нужным об этом позаботиться. Звонок продолжал и продолжал дребезжать требовательно, настойчиво. Он, наконец, поднял трубку.

– Алло?

В трубке слышалось натужное, прерывистое, непонятное сопение. Дохнуло жарким болотистым запахом.

– Ну... сообразил, наконец... ой, вот так хорошо... Подай еще голос... мужчина, – задыхаясь, хрипела женщина. – Ты что, не слышишь? Не молчи, подай, говорю, голос... ну, ты же мужик, интеллигент, скажи слово, нужно же кончить... уй-ии, слово скажи, никак не могу сама...

– ... – выматерился Зимин.

– Уй-иии,.. спасибо, – не выдохнул, а выпустил воздух голос.

Зимин прикрыл глаза. Трясина еще пузырится, поглощая останки, запах, дыхание душных тропиков, успокаивается, переваривает, клоочет, сочится...

Я, кажется, заболеваю, – подумал он.

Главной заботой было не издать шума, поворачивая ручку, открывая, потом закрывая хорошо смазанную, слава Богу, дверь, так, чтобы не щелкнул замок. Снизу доносились громкие голоса, беседовали две женщины. Все равно, решил он. Теперь все равно. Пройду.

Занавеска на окне сторожевой комнаты была раздвинута во всю ширину стекла, открывая сцену. Розовое пухлое покрывало было непристойно раскинуто, смято. На телевизионном экране освежались чаем две женщины. У одной, в голубом капоте, лицо было распаренное, потное, волосы под легкой косынкой мокрые, как после бани. Она держала блюдце на пяти пальцах, подносила к вытянутым губам, звучно присасывалась. Другая была в очках, на волосах бигуди, капот розовый – тоже, кажется, после купанья. Чашку она держала культурно, оттопырив мизинец. Обе были на одно и то же, узнаваемое лицо. На столе перед ними покачивалась круглая кукла-неваляшка, похожая на обеих.

– А что же насчет загадочных сил? – спрашивала голубая.

– Пусть верит, кто хочет быть в дураках, – отвечала другая, в очках.

– Зачем же так откровенно?

– А все равно. Смейся, не смейся – найдется, кто клюнет. – И подливала себе в чашку из чайника в крупных красных румянцах. – Мы ведь свое все равно возьмем.

– Ну, с этим я не спору, – согласилась собеседница.

И вдруг обе устали с экрана прямо на Зимина.

– Вот он, появился, – сказала розовая, в бигуди. – Ты глянь, какой у него вид. А ведь воображал о себе!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

У самого дома он оказался застигнут дождем, поначалу легким, шаловливо заигрывающим. Не хотелось от него укрываться, приятно было ощущать живую свежую влагу на лице, на коже. Она затекала с промокших волос за воротник, пробиралась, теплея, к лопаткам. Потом, однако, разошлось не на шутку, окатило ливнем, как из поливальной машины – и прятаться показалось поздно. Все равно что признавать шутку неудачной.

Стоило войти в подъезд, как влага неприятно остыла. Дохнуло простудным сырým холодом. Даже пальцы стали непослушны, не сразу удалось вставить в замок ключ.

Застоявшийся, сиротский воздух встретил его в прихожей. С вешалки что-то само собой соскользнуло, шмякнулось на пол. Это был старый зонтик, забытый там, наверху, с прошлого дождя. Укоризненное легкое напоминание: вот же я где был, а ты, значит, предпочел мокнуть? Зимин развел руками, принимая упрек. Вернул зонтик на место.

Квартира встречала его смущенная, неуверенная. Так встречает после долгой разлуки провинциальная родственница, когда-то самая близкая. Как умела она обласкавать, как ублажала незамысловатыми угощениями: шанежки с простой, конечно, картошкой, но в магазине у вас таких не купишь, правда? И настойка вишневая собственного изготовления, ты ее когда-то любил очень, нахваливал, помнишь? А? И погляды-

вала с улыбкой ищущей: я, наверное, сильно изменилась, да? Ты как будто меня не узнаешь. Ну хоть, наконец, разденься, стащи с себя промокшую одежду, простудишься. Деньги, тоже волглые, из кармана выйми. И это, и это сними. Надо повесить все на сушильную трубу в ванной. Забыл, где это? Ну вот, натыкаешься на коробку. Что смотришь? Она тут всегда стояла, в ней всякое старье на выброс, так и осталось...

Труба оказалась холодной, горячая вода из крана не полилась – отключили. Обычный летний ремонт, предупреждали, забыл. Очень некстати. На краю ванной скопился ржавый потек, краны выглядели совсем уж погрязневшими, старыми. Раньше этого не замечал. Успел привыкнуть к другой, европейской сантехнике.

В холодильнике на кухне осталось полбутылки недопитого выдохшегося пива. Черная горбушка в хлебнице начала плесневеть. Надо ее выбросить в ведро, и ведро опустошить, уже от него пахнет. Но сначала выпить горячего чаю, то есть сначала вскипятить. Сейчас... только вспомнить что-то еще...

Право, что-то произошло с квартирой, пока он отсутствовал. Все успело скоропалительно постареть, помрачнеть. Верхняя лампа, которую пришлось зажечь среди бела дня, света почти не добавила. На плафоне проявился серый пыльный налет. Полки под тяжестью книг прогнулись – раньше этого не замечал. Что-то время от времени пощелкивало, поскрипывало, расправлялось, потягиваясь.

Вот так мы без тебя и жили своей жизнью, – слышалось в этих звуках. Рассыхающиеся паркетины, отстающие от стены обои. Перетерпели жару и сухость, пора опомниться. Дождик увлажнил воздух, хозяин вернулся, вот и хорошо, вот и славно. Как в самом деле было бы без него, что с нами бы стало? Никому больше не понадобится ношеное, трухлявое, устаревшее. Наследники не объявятся, не приедут из-за океана. Отдаленные, недостоверные родственники давно растворились невесть где, так ведь? Если кто выявится, то разве что на дележ квартиры. А нам одна дорога – в мусорный контейнер, на свалку, перегнивать. Куда же еще? Это понятно, так и со всеми должно быть, не музейные экспонаты. Но вот там ведь еще на сто-

ле, видишь? листки в папке, на них что-то уже написано? Неужели не жалко? Что смотришь, как будто разучился читать? С похмелья, что ли? Ну, это бывает...

Нет, если это было похмелье, то какое-то особое. Не головная боль, не дурной вкус во рту, тут все было в порядке. Но вот память – с ней, право, что-то творилось. Смотрел на листки, которые сам исписал не так давно, это он помнил. Но не оживало ничто, не наполнялось звучащим смыслом. Невнятный орнамент, трудночитаемый почерк, неразгаданный, затихший голос. Уходящая, ушедшая жизнь, не более. Пункт назначения тот же...

Только вот еще телефон, – Зимин задержался взглядом на черном, ладненьком тельце. Он смотрел на него с виноватой нежностью. Тоже забытый, обиженный, но сохранивший верность зверек. Звал, небось, заливался, а меня не было, да? Ну вот, я снова с тобой, я вас не бросил. Звони еще, звони, вдруг еще кто-то захочет со мной поговорить. Только сначала немного придти в себя.

Становилось все более зябко, надо было согреться. Зимин взял плед, накинул его на плечи, попробовал устроиться, прикорнуть на диване. Скрип диванной пружины похож был на стон – не боли, но удовлетворения. Не думай, что этот звук означает другое. Мы еще не инвалиды. Разве лучше, когда тебя принимают беззвучно, словно какой-нибудь гостиничный безупречный, но чужой, равнодушный служитель? Мы по-свойски. Мы привыкли к повадкам друг друга. Вспомнил, где достать подушку и одеяло? Правильно, тут же, в диванных внутренностях. Покряхтим, приспособимся друг к другу нажитыми неровностями, горбатостями. Одеяло, правда, прохладное, могло бы принять теплей. Но согреетесь, согреетесь еще друг о друга.

Начинало по-настоящему знобить. Он укутался в одеяло с головой, скорчился, припоминая телом первоначальную, до всякого сознания, позу, в оболочке, собирающей, хранящей тепло, в мягкой удобной капсуле, готовой к полету, неизвестно куда, в невесомость, в провал. Приближались одно за другим знакомые лица, узнавались, как верстовые указатели на

дороге, без цифр, одинаковые при всем разнообразии, зеркальный ряд, разрозненные приметы уходящего в прошлое, россыпь древесных листьев или бумажных листов, фокус с карточным веером, где короли и дамы казались знакомы по фотографиям, но не по именам. Тс-с, говорил один другому, не надо будить. Мы и так обмерим, что надо, сделаем снимки. Есть у него где-то семейный альбом?.. Забыл запереть дверь, пробрались, – соображал сквозь сон Зимин, но глаз не открывал. Лучше не показывать, что ты их заметил, красть все равно нечего... В голом виде надо? – спрашивал голос. – У нас уже есть. Не снимай с него одеяло, техника позволяет и так. Теперь достаточно малой пробы, клеточки, капли слюны, а тем более крови, чтобы восстановить полный код. – А голос? Голос нам нужен? – Ну, это не проблема, голос он сейчас подаст. И вместе засмеялись, довольные собственной шуткой. Из тех, что смешны только для своих, постороннему не понять, над чем смеются. Неприятно. Явно же над тобой. Надо это кончить. Надо проснуться.

2

В такую погоду под одеялом оказалось даже чересчур жарко. Он проснулся, вспотевший – вынырнул из провала, где еще отзывался, затихал обидный чужой смех. Сел на диван, уставился перед собой непонимающим пустым взглядом. В комнате было сумрачно.

– Сейчас утро или вечер? – спросил он – и смутился неожиданного звука. Получилось, оказывается, вслух. Сейчас утро или вечер? – повторил он про себя. Остановившиеся часы так и наслаждались дрящей вечностью на стеклянной полке где-то там, где ванна могла наполняться душистой теплой водой. На каком-то языке это называется нирвана? Забыться, не желать ничего другого? Нет, это не то, это не здесь. Здесь нет горячей воды. Ты еще не вполне вернулся. Где-то еще между явью и сном. Одурачность спросонок. Звенящая тишина. Отсутствие звука...

Да, вот что было не так: не звонил телефон. А какого звонка ты ждешь? – спросил он себя. От Сабины? Могла бы в самом деле обнаружить уже твое исчезновение, поинтересоваться. Но у нее-то время сдвинулось с места, пошли дела, ты от них в стороне. Если сейчас позвонит – знаешь ли уже, что ей сказать?

Он посмотрел снова на телефон. Захотелось тронуть рукой гладкую ласковую поверхность. Зачем? Ну, узнать, наконец, все-таки точное время, – соединил он мысль. Ты же этого сейчас хотел. Понять, утро сейчас или вечер. Чтобы больше не сомневаться.

Он снял трубку, приложил к уху.

Звука не было – мертвенное безмолвие.

Внутри словно оборвалось. Чего ты так испугался? – сказал он себе. Поощряюще похлопал средним пальцем по рычажку. Оживить черное тельце не удалось.

Ничего, можно починить, напомнил он себе. Обычное дело. Техническая неисправность, не более. Почему ты так сжался? Одурел, честное слово. Раньше мог жить вообще без телефона, было такое время – и ничего. Создали сами себе зависимость от аппарата, а вместе с ней неудобства, тревоги, страхи.

Выбраться до конца из сна все еще не удавалось. Приходилось передвигать в уме угловатые глыбы, составлять, соединять. Чтобы починить телефон, надо было позвонить на телефонную станцию. Так. Но как позвонить в бюро этого самого ремонта, если телефон, по которому можно было вызвать помощь, как раз не работал?..

Ну, конечно же, выйти к уличному автомату. Он нашел старые джинсы – промокшие еще сохли. Нужны, кажется, жетоны? – спохватился он, уже выходя за дверь. Или аппараты теперь вообще другие? Давно не звонил с улицы.

Ближний уличный таксофон принимал только телефонные карты. Вот так. Стоило добираться, чтобы вспомнить уже известное. Солнце после дождя не вернулось, небо затянуто было неподвижной пленкой. Во рту совсем пересохло, по горлу точно прошлись наждаком. Надо было чего-нибудь вы-

пить. Вернуться за деньгами, потом на почту за карточкой? Работает ли еще почта? – соображал Зимин. И что делать с этой гудящей тяжестью в голове? Не заболеваю ли я в самом деле?

Рядом с карточным таксофоном оставалась еще старая телефонная будка. Стекла дверцы вверху и внизу были выбиты, пружина, защищающая провод, растянута: кто-то хотел, видно, срезать трубку, но не успел или раздумал. Сам аппарат оставлен был явно по недосмотру. Зимин зачем-то вошел в кабину, снял с рычажка трубку – и неожиданно услышал гудок. Что если аппарат мог работать, не требуя ни монет, ни жетонов, ни карточек? Бывало же такое. Какой номер у бюро?.. не записал. И об этом забыл перед выходом.

В следующий момент обнаружилось, что нужный номер можно было прочесть на листке, тоже сохранившемся за стеклом в рамке. Вдруг все-таки?..В каком-то азарте он стал крутить диск – и прорвался, сверх ожиданий прорвался, даже с первой попытки! Как будто оправдываться могло именно неожиданное. Откликнулся деловитый голос телефонистки. Он сразу стал говорить про отключившийся телефон, его поторопили:

– Номер ваш назовите?

На какой-то миг он почти испугался, что не сможет сейчас его вспомнить. Голова, голова!.. Нет, вспомнил.

– Подождите у аппарата, – сказала телефонистка, – сейчас выясню.

В трубке остались отдаленные, но внятные голоса. Другие диспетчеры говорили в том же зале по другим телефонам, с другими людьми. «Это ваши проблемы», – слышалось отчетливо.

– Алло! – встрепнулся Зимин, – это вы мне?

– Ваши проблемы, – повторилось, размножилось эхом.

– Алло! – снова крикнул в трубку Зимин.

– Представляешь, уже убежал с работы, – сказал прямо в ухо Зимину голос. – Говорит, жена собралась рожать раньше срока.

– Но вы мне обещали,.. – попытался напомнить о себе он.

Короткие гудки – соединение отключили.

Преимущество испорченного аппарата: можно было набрать тот же номер снова без всяких монет. Проходящая женщина с сумкой оглянулась на человека в будке с разбитым стеклом. Мальчик остановился, держа руки в карманах, уставился на него пристально. Один из пацанов, знавших, наверное, секрет, как звонить без денег; сами, может, тут что-то и подсоединили, умельцы. Зимин повернулся к нему спиной. Теперь было занято. И снова занято. Сколько жаждущих стремилось прорваться со своими проблемами на невидимую кухню, где подключались, путались, смешивались, булькали голоса. Наконец, откликнулись.

– Я только что с вами говорил,.. – начал было Зимин.

– Номер? – привычно оборвала телефонистка.

– Номер? А,.. – он повторил номер. – Но вы...

– Сейчас выясню.

– Но вы мне только что уже обещали! – не выдержал он.

– Не кричите вы, пьяный, что ли?.. Да, уже проверено: неисправности нет, вас отключили за нарушение.

– Какое нарушение? Меня не было дома.

– Вот, именно так и сказано. Неправильно была положена трубка, с утра до вечера шли сигналы.

– Какие сигналы? – не понимал Зимин. – Если не так положил трубку – из-за этого отключать?

– Я что, должна каждому объяснять, какая нагрузка на сеть, если сто человек одновременно не положат на место трубку? Уедут на месяц, на год, нам звонят абоненты, спрашивают, что случилось, почему нельзя дозвониться, проверьте, в чем дело.

– Кто вам звонил? Кто спрашивал? – не мог пробиться к смыслу Зимин. – Я никуда не уезжал.

– Я вам про инструкцию от июня восьмидесятого, а вы мне про интернет, – ответил изменившийся голос.

– Какого восьмидесятого?

– Вы почему опять вмешиваетесь в разговор?

– Я? Вмешиваюсь? А со мной кто-нибудь говорит? Алло! Не отключайте опять. Я просил подключить мой телефон!

– Да подключат вам, подключат, – вернулся голос прежней телефонистки, – сколько можно объяснять? Заказ принят. На первый раз с предупреждением. В другой раз и платить придется.

– Платить? Ну, это ладно, – с облегчением вздохнул он. – Подключат прямо сейчас?

– Сейчас? Какой час? Вы хоть знаете, какой сегодня день?

– Не знаю, – сказал Зимин.

– Ты что, пьяный? – перешла телефонистка на «ты».

– Я нездоров, – вдруг решил соврать он – чувствуя, что говорит, может быть, все-таки правду. Только что показалось, что стал приходить в норму. – Мне надо вызвать врача.

– А если у техника жена решила рожать раньше срока, кто за него будет делать? – возник еще один голос.

– В понедельник с утра, – пообещала телефонистка.

3

Улица к вечеру утомилась от накопившегося за день мусора. Нечувствительный ветерок нес по мостовой полиэтиленовый пустой пакет. Он припадал к асфальту, замирал, обессилев, как будто испустил последний остаток дыхания, но тут же вдруг оживал, раздутый, как наволочка, подавался туда, сюда, радуясь возможности еще поиграть, порезвиться. А вы думали, со мной кончено, ни на что больше не способен? Нет, это я притворился. Можно подумать, что обманул, хитрец. Хотя это играл не он, это с ним забавлялись, не давали успокоиться невидимые потоки воздуха, тащили, не спрашивая, не объясняя, куда.

А ты разве можешь себе объяснить, куда сейчас направляешься, зачем? – слабо качнул головой Зимин. Тащит по улице общим потоком, частицу среди частиц, подталкивает с боков, подправляет. Толкотня, мутная взвесь вокруг и в мозгу, направление складывается из случайностей.

Взгляд шарил по сторонам в поисках подсказки или зацепки. Солнце давно спряталось за домами. Смеркаться еще

не началось, но огни рекламы уже зажигались. Их искусственный свет делал воздух вокруг темнее. Лица окрашивались разноцветными мертвящими отблесками неестественного оживления. Кончился рабочий день, люди то ли возвращались домой, то ли собирались гулять, настраиваясь на завтрашние выходные. Сверху, со стен, с придорожных столбов, зависая в воздухе, смотрели на них, мелких, укрупненные, загорелые, светящиеся изнутри физиономии. Они сияли довольством и стремились поделиться открывшимся им рецептом.

«Ощути единство со всем миром», – вчитывался Зимин. Да, как раз об этом мы и думаем. Это, наверно, и нужно. Только сигареты вряд ли помогут. Пробовал, бросил. «Быстро и дешево». А это про что? Нет, все не про то. Реклама спиртного запрещена. И деньги оставил дома сушиться... Может, сейчас прямо к Сабине? – с усилием соображал он. У нее с выпивкой хорошо. Вроде в ту сторону я и продвигаюсь. Может, уже дозванивается до меня, не поймет, куда я пропал. Ушел, не предупредив, не объяснив, куда, надолго ли. Да я ведь и не был обязан. У каждого своя отдельная жизнь, имеем право. А у кого-то уже получилось вместе. Вот идут двое в обнимку, целуются на ходу. Встретились, наконец. Без проблем. Способы предохранения усовершенствованы, чего не захотят, того не случится... Черт побери, они, кажется, оба мужчины, со спины не различишь, волосы одинаково длинные...

Зимин не заметил, как сошел на проезжую часть, рассеянно успел отстраниться, изогнуться всем телом, убирая поясницу, как тореадор: маленький слепой автобус потерялся о него боком, проехал мимо. Ладно, ладно, отмахнулся он от несвоевременной ласки. Этого сейчас не надо... О чем же я? – попробовал он вернуться к утерянной мысли... А... Есть еще библиотечка, Нина. Эта примет беспрекословно, без объяснений. Выпить у нее, правда, не получится, но утешит по-своему, успокоит. Поможет забыть себя... дорогу в собственный мир, как это было сказано? Встретиться бы сейчас с тем занудой... К себе-то вернешься, но кого там застанешь? Потерянного не вернешь, разорванного не соединишь, не восстановишь. Разве только в памяти, в душе, в воображении...

Зимин обнаружил, что уже оказался на той же знакомой улице, хотя в подземный переход не спускался. Теперь доступ туда был просто закрыт, люди переходили дорогу поверху, им помогал регулировщик... Да, – снова попробовал поймать кончик неразрешенной мысли Зимин, – если бы можно было соединить все: консьержку, соседей по лестничной площадке, ряженого с плакатиком, идиотку и возбужденное животное, людей, проходящих сейчас мимо, как тени. Они отражались в стенах из черного зеркального пластика. Влажными ореолами расплывались отражения загоревшихся огней.

Отражаюсь ли среди них я? – подошел к стене поближе Зимин. Не сразу удалось узнать в черной плоскости свое отражение. Затемненные глазницы были как черные очки, лицо неживого пластмассового цвета. Машины и люди двигались по стене, онемелые, призрачные, ненастоящие. Окружающие звуки исчезли, растворились среди отражений, оставался лишь шум в ушах.

Такая же черная стена отражалась напротив. Человек, стоявший спиной к Зимину, смотрел, как и он, в стену. В таких же джинсах, в серой рубашке. Естественно, он и должен был так отражаться, спиной, смотреть в свою стену. Тоже, что ли, я? – вглядывался Зимин. Размноженная зеркальная перспектива. Призрачные фигуры проплывали между двумя отражениями. Собака, облагороженная отражением до блеска, подковыляла на двух передних лапах к человеку у стены, стала обнюхивать его ноги.

Зимин невольно оглянулся, посмотрел на свои ноги. Нет, она обнюхивала не его, другого, стоявшего у павильона напротив. Он тоже оглянулся на Зимина, как сделало бы отражение. Лицо у него было покрашено белой краской.

Зимин поспешно отвернулся к своей стене, словно оказался застигнут врасплох. Собака заковыляла на двух передних лапах дальше, в сторону подземного перехода. Белолицый что-то поправляя, завершал на своем отражении, приглаживал щеки и лоб пальцами. Тот самый? – неуверенно присматривался Зимин. Готовится к своему вечернему представлению? А где его блуза с бантиками? Что он сегодня надумал?

Человек снова повернулся, поднял стоявшую на асфальте, у его ног, бутылку, запрокинул голову, присосался. Кадык подрагивал, обозначая глотки. Удивительно, как ясно, до подробностей иллюзорно укрупнилось все в черном отражении. Но можно ли было в отражении уловить твой невольный взгляд? Различить, как ты, не уследив за собой, завистливо облизнул пересохшие губы? Белолицый приглашающим жестом протянул отражению Зимина бутылку.

Пришлось обернуться. Тот приподнял бутылку еще раз, повыше. Черные губы разошлись на белом лице в улыбке: ну?

4

Зимин подошел неуверенно – человек из отражения навстречу шага не сделал.

– Что вы там так внимательно разглядывали? – сказал он, тщательно отирая рукавом горлышко. – Я подумал, вы тоже краситесь. Попейте, – протянул бутылку.

Кто он такой? Почему со мной заговорил? – с сомнением продолжал всматриваться в него Зимин. Узнать набеленное лицо было невозможно. Что значил этот маскарад?.. Он все-таки взял мягкую бутылку. Этикетки на ней не было. Напиток оказался тепловатый, некрепкий.

– Что это? – спросил он.

– Понятия не имею, – живо откликнулся белолицый. – Между нами, стащил там, внизу. Что-то ихнее, фирменное, название еще не утверждено. Оставили без присмотра на тележке... Да вы пейте, пейте, – опередил он благодарный жест. – С меня уже хватит.

– Жажды не утоляет, – сказал Зимин, но все-таки хлебнул еще. Спросить, что означало это «внизу», он помедлил – и какая была разница? – Мне бы сейчас чего покрепче.

– О, вы еще не распробовали, – растянул тот черные губы. – Я-то начал немного раньше времени. А вы что, опаздываете? Народ уже там.

– Не понимаю? – переспросил Зимин. Этот болтливый тип, похоже, был в самом деле навеселе.

– Но вы же по приглашению?

– Куда? По какому приглашению? – Человек был не только навеселе, но еще, видимо, обознался. – Вы меня что, знаете?

– А вы меня не узнаете? Ну, еще бы! Намазались бы – и я бы вас не узнал. Но ведь такое вы тоже получили?

Он достал из нагрудного кармана желтый листок. Зимин узнал эту бумажку.

– Стихи про муравьев? – пригляделся он. – Да, мне положили такой в ящик. Не понял, что это, листовка или реклама непонятно чего.

– Причем тут муравьи? Муравьи – это, я думаю, так, для эффекта. Рекламный трюк. Немного в постмодернистском духе. Но без этого теперь, говорят, нельзя. Должно звучать зазывающе. День Великой Яйцекладки. Цивилизация двадцать один. Что это такое, вряд ли кто может объяснить. Да на обороте-то, на обороте, вы разве не посмотрели? Приглашение, день, час.

– Я не обратил внимания, – признал, посмотрев, Зимин. – Оставил свой листок дома.

– Ну, вы даете! Как можно быть таким нелюбопытным!

– Говорю же: я думал, это всем разбрасывали.

– Ну да, как же, всем! Вы что, видите толпу желающих сюда попасть? Толпа там, где положено, у входа для всех. Хотя парадный совсем еще не достроен. Я сам, честно сказать, удивляюсь, какого сумели напустить дыму для отвода глаз. Люди идут мимо, не подозревают, что сейчас у них там, под ногами.

– Вы могли бы мне все же толком сказать, что там такое? – безудержная болтовня начинала уже раздражать Зимина.

– Как будто вы газет не читаете?

– Не читаю.

– А, понятно. Вы из тех, кому достаточно внутренней жизни. Не замутняете мозги общим мусором. Правильно делаете. Если, конечно, есть чем утолять голод обыденный. Сколько газет, столько было версий, и все уже отшумели, забылись. Высосаны были из пальца или умышленно распространялись.

Достоверно-то никто ничего не мог знать. Парк аттракционов, чудо века, виртуальные эффекты, уникальная лотерея с выигрышами по индивидуальной программе, для богачей, которые уже сами не поймут чего хотят, культурный бизнес-центр или центр бизнес-культуры. Тоже ведь чушь собачья, как это соединяется через дефис? Распространялся даже слух, будто идею украли у какой-то американской фирмы. Раньше наша разведка воровала секреты бомбы, а теперь – культуры и развлечений, додумаются же? Чего-чего, а такие вещи у нас сами умели делать. Книжки писать, то, се. Наладить нормальную жизнь – на это денег бы не потратили, и все равно не получится. А тут, говорят, сколько вбухали, надо же утереть нос всему миру. Да скорей всего и это вранье, посмотрим. Устраивают, вроде, пробную демонстрацию, по адресным приглашениям, что-то будут испытывать на добровольцах, как на подопытных кроликах. У кого потом не хватит денег, чтобы сюда попасть, для тех сегодня, может, вообще единственный случай...

Зимин не столько вникал в смысл безудержной болтовни, сколько вслушивался в голос, почти готовый его узнать.

– А как такое, как вы говорите, приглашение попало ко мне?

– Ну, не буду скрывать, – растянул тот в довольной улыбке губы, – тут лично я приложил руку, вписал ваш адрес. Забавно все-таки, что вы меня не узнаете. Оно пока и хорошо. Я был когда-то причастен к разработке первоначальной программы. Соблазнился возможностью подработать, сочинял разные сценарии. От моих идей, как скоро выяснилось, ничего потом не осталось, все переиначили до неузнаваемости. Вот, скажем, я предлагал маски. Для желающих оставаться инкогнито...

– Великая идея, – не удержался от усмешки Зимин.

– Чувствую, чувствую ваш сарказм, – охотно откликнулся белолицый. – Конечно, идея не новая. Так я на авторство и не претендую. Авторов всегда хватает. Имелось в виду известно что: возможность наслаждаться неожиданностями, соблазны карнавальная свобода, при минимуме личного риска. Сегодня прихожу, спускаюсь вниз. Свой, казалось бы, человек. Маски действительно предлагают у входа. Но обязательно и за

наличные. Даже мне. Каково, да? Называется, вход бесплатный, но денежки выложи все равно. Нет, извините. Я-то к подвоху уже был готов, догадался прихватить баночку с белилами. Правилами не запрещено. У меня, по правде сказать, предчувствие, что все вообще окажется туфтой, сведется к простой тусовке. Но мало ли...

Он ненадолго приостановил свое словоизлияние – что-то ему вдруг пришло на ум.

– Слушайте, – сказал, – я попробую вас с собой провести. На свое приглашение. Гениальная идея! Можно будет сказать, что мы двойняшки, у нас общее приглашение. Так было задумано, карнавальная идея. А? Чего-нибудь наговорю. Меня ведь там уже знают, со мной пропустят. Как вы к этому относитесь?..

На цирковых представлениях умеет привязаться такой коверный: прилипнет, потянет участвовать в чем-нибудь – попробуй отделаться. Почему он готов был так безвольно поддаться?

– Вот и прекрасно! – сделал тот вывод сам, не дожидаясь реакции Зимина. – Только отойдем чуть-чуть в сторонку, а то на нас уже оглядываются. Думают, не начнем ли мы сейчас представление... Да что я? Можно прямо сюда, вниз.

Он приподнял ленту с запретительной табличкой, прошел, пригнувшись, сам, придержал для Зимина. Тот, поколебавшись, все-таки последовал за ним. Захотелось ли до конца прояснить что-то?

– Повесили для посторонних, – прокомментировал белолицый, явно довольный своим правом проходить, куда других не пускают. Они спустились в подземный переход. Здесь остались светить лишь две тусклых лампы. Под ногами перекатывались пустые пивные банки. – Да, освещение для портретной живописи неважное, – огляделся тот. – Но белой краской рисовать можно... Что вы отстраняетесь, это всего лишь белила. Не бритвой же по горлу, – он засмеялся собственной шутке. Пальцы мягко двигались по лицу. – Тут, говорят, уже были убийства, какая-то все время борьба. А как же? Деньги – такое

дело... нас это не касается... Вот, пожалуй, все, – откинулся он, как художник, оценивая работу. – Можно идти.

И направился уверенно в сторону бокового ответвления. Гулко отдавались в пустом пространстве шаги. Металлические служебные двери были окрашены мрачной невнятной краской. На одной изображен был знак молнии. Перед ней он остановился, постучал костяшками пальцев.

– Свои, – ответил на неслышный вопрос – тоже тихо. Что-бы, наверно, не слышали посторонние. Которых тут, впрочем, и не было. Дверь приоткрылась, белолицый протянул перед собой желтый листок.

– По приглашению, – сказал уверенно и прошел вместе с Зиминим мимо человека в форме неофициального охранника. – Ну, я же говорил. Я здесь свой, – повеселел он. Стало заметно, что сомнения в своих возможностях у него все-таки были.

Очередной длинный переход казался совсем недостроенным, бетонные стены не везде были облицованы. Свет был неживой, тягостный. Постучались еще в одну дверь. Из смотрового окошка выглянуло сморщенное круглое личико, непонятно, мужское ли, женское. Дверь приоткрылась, провожатый протиснулся со своим листком первый, вполголоса стал что-то там объяснять...

– Постойте, постойте! – подался он тут же назад, увидев, что дверь за ним стала затворяться. – Я же вам объяснил, мы имеем право вдвоем.

– Имеете, вижу, что имеете, – ответил голос. – С приглашением сюда, без приглашения обратно.

– Подождите, – успел тот еще высунуть из-за дверей голову, – я сейчас попробую устроить, договориться. Поставили тут каких-то...

– Не беспокойтесь, – отмахнулся Зимин. – Я могу сходить за приглашением домой.

– Да, возвращайтесь, я буду ждать, – голос уже звучал с той стороны, заглушенно. – Тут только еще начинается. Увидимся. Если, конечно, узнаем друг друга.

Никуда он возвращаться не собирался. Было чувство, словно вдруг вовремя опомнился от какой-то сомнамбулической расслабленности. Едва не позволил себя увлечь неизвестно куда. Хотя что значит не позволил? Не сам же отказался. Сработали обстоятельства. В соответствии с внутренним желанием, можно сказать так. В жизни именно так бывает. Не захотел – вот и не пропустили...

Задумавшись, он не сразу сосредоточился на дороге. Длинный мрачный переход, по которому только что шел сюда, казался немного другим, не совсем знакомым, как это бывает на обратном пути. Особенно если сюда шел с провожатым, а теперь должен ориентироваться, искать выход сам. Впрочем, коридор был прямым. Те же запахи незаконченной строительной работы, известки, сырого цемента напомнили о себе. Остатки неиспользованной облицовочной плитки валялись среди кучек прочего мусора. Но куда девался охранник у двери? Не пропустил ли я какой поворот? – оглядывался Зимин.

Он остановился в сомнении. Вернулся немного назад. Двери были похожи одна на другую, охранник мог отлучиться. Передо мной ли закрыли дверь, за мной ли? – шевельнулась смутная мысль.

Потянул на себя ручку ближней. Открылось ярко освещенное помещение. Женщина не просто маленького – детско-го роста, в белом переднике, с наколкой в волосах, расставляла на тележке стаканчики с напитками зеленого цвета.

– Извините, где тут выход? – обратился к ней Зимин. – Я, кажется, заблудился.

Маленькая буфетчица улыбнулась молча, толкнула перед собой тележку и приглашающе оглянулась на Зимина. Он вышел вслед за ней в просторный, уже вполне обустроенный холл. Обширные, однако, пространства оказались обжиты под землей. Перед тележкой сама собой раздвинулась еще одна дверь.

В небольшом помещении у стены светился экран, на нем из черной, сужающейся книзу капли выдавливались белые шарики, разбегались один за другим по разветвленным желобам; вспыхивали, сменяясь, цифры. Маленькая женщина оставила тележку, с той же молчаливой улыбкой протянула Зимину стакан.

– Мне уже хватит, – сказал тот.

– Ваша фамилия? – спросила лилипутка неожиданно нежным, певучим голосом и выдвинула из-под дисплея клавиатуру.

– Фамилия? – переспросил он, не находя взглядом следующей двери. – Мне бы выйти, – напомнил он.

Она продолжала смотреть на него с выжидательной улыбкой.

– Зимин, – уступил он.

Быстрые легкие пальцы пробежали по клавишам. На дисплее возникла таблица, другая.

– Вы по индивидуальной программе? – она глянула на него с уважительным интересом. – Пожалуйста, – показала на противоположную стену.

По какой программе, куда? Зимин растерянно оглянулся. В стене открылся проем, за ним оказалась лифтовая кабинка. Слова звучали как будто осмысленно, только не могли совпасть, соединиться с пониманием. Вдруг вспомнил, что лицо у него оставалось забелено. Может, это здесь что-то значило? Заманили куда-то хитроумно?.. А, вздор, ощутил он бессмысленность любых своих догадок. Чего еще бояться?

Обычного пульта с кнопками в кабине не оказалось. Дверцы тут же сошлись. Лифт двинулся сам, как будто знал нужную – единственную – программу. Двинулся он не вниз, как ждал почему-то Зимин, а вверх. Мимо взгляда прошло межэтажное перекрытие. За прозрачной стеклянной стенкой открылся зал, освещаемый лишь перемигивающими цветными огнями. Низ гигантски увеличенного каплеобразного туловища свисал откуда-то из темноты, черная глянцевая поверхность отражала огни. Из капли выдавился белый шар, покатылся по желобу среди разноцветного перемигивания, задер-

жался у разветвления, свернул. На стенном табло сменялись электрические цифры. Сверху уже выдавливался следующий шар. Вот что я видел на экране, – смутно соображал Зимин. Лотерейный аттракцион. День Великой Яйцекладки. Время от времени возникал шум – оживления, разочарования...

Еще одно массивное межэтажное перекрытие прошло сверху вниз. Неожиданный свет хлынул через стекло лифта, прозрачное настолько, что оно словно перестало существовать. Открылся просторный луг, поляны желтых одуванчиков сияли среди зелени, как пятна солнечного света. Дети рвали цветы для венков, одуванчиковые ореолы уже окружали их головы. Они заметили поднимающийся лифт, повернули к нему лица, замахали, приветствуя или прощаясь. Зимин неуверенно поднял руку. У него сжалось сердце. Что это? – вглядывался он. Я здесь был. Так не бывает, я знаю... но хоть немного бы задержаться, посмотреть еще...

Лифт, словно подчиняясь его желанию, плавно изменил направление. Он мог, значит, идти не только вверх, он двинулся в сторону, по диагонали, но этому ли было удивляться? Дохнуло теплым молоком, травяной жвачкой, навозом. Три белых коровы смотрели на Зимина неподвижно, спокойно: не прибыл ли наконец подоить, облегчить? Уши торчали в стороны, рога в стороны. В бок одной из коров был вписан такой же неподвижный теленок – белое в белом. Изваяние природы из костей и живой плоти, внутри молоко. Боже, кто мог знать про меня это? – провожал Зимин уходящий луг взглядом. Я это видел уже не вспомнить когда, и написать об этом до сих пор не успел. Пляшущее прозрачное облачко толклось в воздухе – играли, радовались однодневки растянутому мгновению, в которое вмещалась их жизнь. Как грустно, как все было томительно грустно... невыразимо, невыносимо. Не соскочить, не остановиться, не задержаться, не взять с собой, сознавал Зимин. Но я это видел, я это ощущал, я мог этому радоваться... как мгновенно переходят все глаголы в прошедшее время, настоящего не выдержать дольше мгновения, для которого не существует часов. Унести можно лишь то, что продолжает жить своей жизнью где-то внутри. И что же еще впер-

ди, много ли осталось?.. Над удаляющимся, омытым пейзажем сияла прозрачная радуга. Она отзывалась на лице невольной улыбкой – непрочная, недолгая, недостоверная, как всякое счастье...

Дальше, что же делать? никому этого не остановить, примирался Зимин, еще не убрав с лица остаток улыбки. Впереди открылись сооружения, похожие на бетонные надолбы или поставленные торчком плиты. Современный далекий город был это или совсем близкое кладбище? Как они бывают похожи, нераспознанный масштаб обманчив. Но туда лучше сейчас не надо. Что бы там ни было, добраться бы сначала... знать бы, до чего... но если еще можно, если еще не закрыто...

Лифт снова подтвердил свою поразительную восприимчивость, готовность подчиниться желанию (было бы оно только отчетливей) – он пошел круто вверх. Перехватило дыхание, как на перекатах известного аттракциона. Резко потемнело, по сторонам теперь ничего не было видно.

Хватит, хватит, ощутил тревогу Зимин. Куда же выше? Там больше не может быть ничего. Лучше бы остановиться...

Прошло некоторое время, прежде чем он осознал, что лифт больше не движется, остановился в крошечной тьме. Попробовал нащупать руками стенки – их не было. Словно они куда-то ушли или вдруг растворились. В какую сторону было теперь выходить? В любую. В такой темноте нет сторон, есть ли верх, неизвестно. Достоверно было лишь существование низа, оно подтверждалось ощущением подошв.

Понемногу глаза приспособлялись к темноте – даже в ней что-то становилось различимо. Бесцветные ртутные испарения слабо светились в воздухе. Крупные, слитые с темной слизняки ползли по невидимым стенам, оставляя за собой молочные фосфоресцирующие дорожки.

– Где это мы? – слышался неподалеку сдавленный шепот. О, значит, кто-то еще угодил сюда.

– Стенки на ощупь противные, мягкие.

– Не трогай руками.

– Надо же понять. На ощупь напоминает знаешь что? Мозги.

- Меня сейчас стошнит от твоих слов.
- Ты никогда мозги не готовил. Ты вообще кухонными делами брезговал.
- А что если мы сейчас внутри?
- Внутри чего?
- Этого самого.
- Ну, ты совсем договоришься! Выпивка уже тебя довела знаешь до чего?
- Какая выпивка? Здесь дышать нечем. Выбраться бы отсюда.
- Куда уж теперь?
- На свет. Куда угодно, только бы отсюда на свет.
- Снова родиться?
- Вот это ты говоришь ерунду. Из мозга не рождаются.
- Помолчи-ка. Он, кажется, сейчас слушает нас.
- Пусть слушает. Пусть хоть сейчас услышит.
- Не начинай опять со своими претензиями.
- Он же меня никогда не хотел слушать.
- Ты до сих пор не можешь простить его женитьбы.
- А кто был прав? Получил, что хотел. Сама его бросила. Ты всех готова простить. А как эта стерва тебя от дома отвадила, ты забыла? Я даже внука не мог видеть.
- Ты ничего уже не мог. Ни ходить, ни сообщать. Перестал бы пить.
- А как было не пить при такой жизни? Как было не пить? Восемнадцать лет на химическом производстве, я же был насквозь отравлен. Руки разве от выпивки стали дрожать? Без нее бы я вовсе не выдержал.
- Ну хватит, хватит, здесь-то перебирать старое незачем. Нас тут к нему все равно не допустят. Пока у него своя жизнь, другая. Ему повезло позже родиться.
- Не повезло, это мы постарались...
- Зимин вслушивался, мучительно озираясь. Что это было?.. Из темноты быстро приближался, выросал огонек фонаря, ударил в глаза, ослепил.
- Кто тут заблудился? – послышался веселый оклик. – Давайте ко мне, подвезу.

Скользнувший луч высветил уродливое черное лицо, развесистые, растянутые в ухмылке губы. Тронулась по невидимым рельсам дальше бесшумная вагонетка, две тени обозначились на переднем сиденье. Зимин подался вслед, поскользнулся на чем-то слизистом, упал на спину. Он попытался встать, заскользил куда-то по наклонному желобу. Слабо отсвечивающие капли выдавливались, падали сверху на лицо, на плечи, на руки, сразу на них застывали, загустевали. Воздух становился все более невыносим для дыхания – отработанный, прошедший через множество чужих легких. Попробовать бы вообще не дышать – можно ли такое?.. не думать, не сознавать ничего, лишь ощущать кожей, размягченными ребрами, как тебя тащит дальше, продавливает сквозь тесноту...

6

– Надо же, попал с первого раза.

– Новичкам везет.

– Ну да, скажите еще: дуракам. Как будто вы тут ни при чем.

– Но я же ничего не подгасовывал, не подправлял. Мое дело было ввести данные, запустить программу. Сам не ожидал, что его так занесет. Процесс естественного саморазвития. Что вылупилось, то, как говорится, вылупилось.

– Ладно, посмотрим. Подержите его пока в таком состоянии. Надо сначала перепроверить данные. Почему оформлено так небрежно? Какой-то беспорядочный навал. Ну, теперь поздно. Так... Фамилия?.. Это ясно, Зимин. Правильно я ставлю ударение, на последнем слоге? Имя... позвольте, уважаемый, а где имя-отчество? Почему не указаны?

– Это не моя вина. Так к нам поступило. Видно, до сих пор обходились. Но можно будет заглянуть в телефонную книгу, адрес известен. Да хоть спросить сейчас у него самого.

– Ну, не позаботились до сих пор – и мы обойдемся. Сейчас тем более не обязательно. Родители... Что, и про них ничего? Да что же это такое?

– Если считаете нужным, сейчас покопаемся. Невелика проблема, только время займет и место. Отец, как можно понять, участвовал в войне. Вот тут в одном тексте упоминается, как мальчик играл с его пистолетом. Работал на химическом производстве, рано стал инвалидом. Под конец жизни, что называется, выпивал. Мать умерла еще раньше, несчастная женщина, она...

– Ладно, сейчас и это уже не ко времени.

– Зато есть полная психоаналитическая экспертиза: задержанное сексуальное развитие, комплексы...

– Это оставим на закуску для специалистов. Для публики пусть остается, где положено.

– То есть в подсознании?

– Как вы догадливы!

– Вы меня зря подкальваете, дополнительных подробностей куча. Вот, смотрите: история болезни еще из детской поликлиники.

– Ничего себе, пухлая!

– Поколение было такое, болезненное. Пожалуйста: корь, дифтерит, скарлатина... полный набор.

– Вы что, свихнулись? Еще и это сейчас зачитывать? Ну, а год рождения-то? Хотя бы год? Неужели и это не отмечено?

– Не досмотрел, признаю. Поставим сейчас на свой страх и риск: 1940. Есть признаки. Сохранилось где-то воспоминание: как он впервые увидел белый хлеб и отказался брать его в рот. Испугался вида. Непохоже было на хлеб, который он знал. Война, я сам помню. Тут было еще множество таких мелочей, я их убрал, не знал, нужно ли. Все не вместишь. А месяц, день – нужно?

– Не обязательно. Астрологию приплетать не станем.

– Еще есть детские фото. Вот тут ему четыре месяца, лежит на пузике, головку уже держит.

– Все как у всех. Эту не надо. А другие, поинтересней?

– У него их вообще не слишком много. Разразился даже как-то на эту тему пассажем: фотографии, мол, умерщвляют мгновение, заменяют воспоминания.

– Ну да, побольше его слушайте! Это он, надо полагать, потому, что не особенно доволен своей внешностью. Тоже по части комплексов. Вон, гляньте, он тут бы сам себя не узнал. Лицо не тощее – изможденное.

– Бодел много.

– Я же сказал: медицинскую историю в сторону... Скулы-то как выступают. И волосы длинные, зачесаны ото лба назад.

– Тогда так носили.

– Вот видите, насчет фото он зря. Полезное пособие не только для памяти – для воображения. А это что за ворох? Школьные аттестаты, оценки по разным предметам... третий разряд по шахматам. Надо же! Сам, небось, про него забыл. Давно не играет.

– Я про это и говорю: многое лучше убрать. Вы меня упрекаете, но что это даст, если не получило развития, отсохло, можно сказать, прошло бесследно? Мало ли на что тратится большая часть жизни? Всех подробностей не вместишь, а главное, из них ничего не составишь. Вот, какие-то мелкие записи на листках. "Ожидание морозной ночью на станции под Мончегорском, у нетопленной печки, когда я узнал, что от холода может тошнить". Куда такое вставить, без связи? Мне кажется, для наших целей хватит того, что уже есть. Тем более если пользоваться новейшими технологиями.

– Это уж верно. Понадобится – просветим хоть до внутренних.

– Рентгеновских снимков тут тоже полно.

– Нет, все, все.

– А в голом виде?

– Про это уже выясняли.

– Еще вот банковский счет. Совсем на нулях.

– Это мы тоже знаем, это уже введено. Все. Пора продолжать.

Одновременный вздох множества ворвался, оживил, восстановил слух.

– Уважаемая публика, читатели, зрители, игроки, участники, любопытные, – раздался тот же, уже полновзвучный голос. Прошу тишины и внимания. Перед вами редкостный счастливец. Человеку выпал приз, о каком он сам едва ли мечтал: возможность актуализировать полноценную экзистенцию в рамках своей же индивидуальной операционной программы, иначе говоря, возможность виртуальной реализации мыслей и желаний, причем за счет фирмы, на самом высоком уровне...

Продолжается тот же бред? – с усилием восстанавливал сознание Зимин. Кто кого сейчас может видеть? В такой темноте?

– Так ничего увидеть нельзя, – с готовностью откликнулся другой голос. – У него же закрыты глаза.

– Эй! Почему вы не открываете глаза? Вы меня слышите? Откройте глаза!

Зимин приоткрыл глаза. Перед ним было громадное укрупненное лицо, не все – средняя часть. Целиком оно бы не уместилось в поле зрения. Видны были темные поры, кустистые волоски торчали из воспаленных ноздрей. Над губой вздулся некрасивый прыщ. Багровел порез от неудачного бритья, но он уже зарастал колючками новой щетины, седыми, темными и почему-то рыжими. На щеке под глазом остался несмытый след белил.

– Это что, я? – решил произнести он.

– О, заговорил, наконец! Не узнаете?

– А вы бы себя под микроскопом узнали?

– Ну, уже начали острить, значит, пришли в себя. Сейчас подравняем масштаб.

Изображение перед глазами сменилось ярким слепящим светом – так можно в первый момент ощутить себя на освещенной сцене, не видя зала. Опустить взгляд, увидеть себя, свое тело он почему-то не мог. Стоял ли он сейчас, лежал, си-

дел? словно завис в неопределенном пространстве, где незачем было даже шевелиться.

– Кому вы меня сейчас собираетесь демонстрировать? – болезненно прищурился он. – Я, кажется, не давал на это согласия.

– Достаточно того, что здесь появились, – возразил насмешливый голос. – На правах, если угодно, субъекта виртуальной программы. Согласие в таких случаях юридически не оформляется. Нет прецедентов. Существуете – от взглядов уже не спрятаться... Ладно, хватит болтать, приступим к делу. Вы, кажется, до сих пор не осознали, не оценили своей ситуации, редкостной, уникальной. О публике лучше забыть, ее, считайте, реально тут нет. Только ответственные за программу. Послушайте еще раз, оцените, какой вам достался выгрыш. Название пока условное: «Второй шанс». Мне лично не очень нравится, можете предложить лучше. Воображения, надеюсь, у вас хватит? Человеку хочется удержать ушедшее, сохранить – а если бы еще восстановить, ведь правда? И вот вам представится такая возможность. В рамках, повторяю, вашей же реальной программы. Без фантастики...

– Забавно это у вас звучит: без фантастики. Я понимаю, тут опять какой-то аттракцион, не более. На высоком уровне. Чувствую и признаю...

– Ну, начинаете уже сопротивляться. Вы меня еще не дослушали. Попробуйте все же вникнуть. Вам как литератору должно быть понятно желание индивидуума стать художественной формой себя самого...

– Нет, я и говорю: тот же бред, да еще как будто издевательский, пародийный. Но если что-то подобное мне и приходило на ум, я ведь сам над собой умел посмеяться.

– Ну, вздор, ну, бред, – голос стал умиротворяющим, убаюкивающим. – Не напрягайте зря мозги, они сейчас не лучший помощник. Если что и может получиться, то как-нибудь помимо них. Сочиняются же неизвестным образом ваши сны. Кого бы вы сейчас хотели увидеть? Глядишь, даже пообщаться, поговорить?.. Вот и славно, вот будет и хорошо... не сопротивляйтесь, настройтесь, расслабьтесь еще немного...

Зимин не успел осознать отчетливо, что происходит – перед ним возникло застенчивое детское лицо. Павлик, узнал он. Не нынешний, тогдашний, похожий на фотографию, где ему навсегда шесть лет и три месяца. Пухлые коленки под короткими штанинами... Да, да, это был он. Перехватило дыхание, когда он помахал рукой.

Это мне только видится, только видится, убеждал себя Зимин. Но пусть. Мальчик оглянулся в поисках поддержки. За руку его держала Алина. Она возникла просто, как возникает воспоминание, в легком васильковом платье. Молодые ключицы нежно выступали в вырезе. И эта ямка между ними, под горлом, которую до сих пор, казалось, помнишь губами. Волосы золотились на просвет и казались от этого еще светлей.

– Это платье на тебе было, когда мы плыли на пароходу, – сказал он. – На пристани девочка предложила нам стакан земляники, я сказал: у нее глаза, как твое платье. Какая же ты молодая.

– А ты, оказывается, совсем седой.

– Мы, видимо, в разных временах. Но это и хорошо. Такой, значит, ты для меня останешься.

– Я, вроде, тоже не изменился, – услышал он за спиной.

Оглянулся: позади него, совсем рядом, стоял Игорь Бурлак. Восторженно всклоченной казалась вся кудлатая голова, белые зубы светились улыбкой.

– Ты еще долго не изменишься, – подтвердил Зимин. – Прости, я до сих пор тебе не успел ответить. Попробовал – вместо ответа получились вопрос на вопросе.

– Какие вопросы? – отмахнулся Игорь. – Я что-то наболтал про лотерею, а у вас – вот, получилось. На бумаге никогда всего не обсудишь. Поговорить бы, как когда-то у вас на кухне, а? Будет еще время?

– На кухне, да, это было самое интересное, – сказала Сабина. Прическа у нее была прекрасно уложена, отливала всегдашним стальным цветом – цветом самостоятельного устойчивого существования.

Зимин озирался в щемящем восторженном изумлении. Поодаль, смущаясь, стояла библиотечарша Нина. Обеими ру-

ками она держала перед животом горшок с цветком. Они встретились взглядами. Зимин пожал плечами, как бы прося прощения за очередную допущенную неловкость, легонько поманил ее подойти ближе.

– Зачем ты взяла с собой этот цветок? – сказал он.

– Не знаю. Так получилось. Не успела поставить.

Ты же говорила, он умер, чуть было не сказал Зимин, но вовремя опомнился.

– Кто эти две дамы? – прищурилась Алина.

– Ты их не можешь знать, они были потом. Но если хочешь, могу признаться: по-настоящему мне даже не удалось тебе изменить. Ты все-таки осталась единственной.

– О чем разговор! Изменил, не изменил. Теперь все должно быть по-другому. Ты ведь хочешь, чтобы мы все были с тобой? Вот, мы вместе.

– Да, Боб про это и говорил: чтобы делать по желанию. Вызывать, изменять, соединять, – сказала Сабина.

– Привет, Саб, – помахал ей рукой Бурлак.

– Нет, – возразил поспешно Зимин, – Боб тут ни при чем. Это не техника. Соединиться могло только во мне. Вы встретились в моей жизни, в разное время, но во мне это осталось. Только с вами я мог чувствовать себя по-настоящему живым...

– Не надо заново усложнять, – сказала Алина. – Главное положительные эмоции. Тебе, кажется, достался невероятный выигрыш. Давай радоваться со всеми... Слышите, какая музыка?

– Новая цивилизация, надо подстраиваться к ритму. Это лучше, чем мой проект... Смотрите, он уже танцует, – показала Сабина.

Мальчик в самом деле неловко покачивался, топтался на месте. Когда-то он всегда начинал так топтаться, заслышав танцевальную музыку, только не умел попасть в ритм, пыхтел, сосредоточенный, упоенный. Алина, довольная, стала подхлопывать ему в ладоши.

– О, какой молодец! – показала Сабина. – Смотри на меня, я тебе сейчас покажу, как надо делать руками. У нас все любят это делать, и дети, и взрослые. Даже старые. За руки не обяза-

тельно. Лучше друг друга вообще не касаться. Теперь танцуют отдельно. Вместе, но по отдельности.

Павлик смотрел на нее, пытаясь повторить ее движения. Получалось запоздало, неточно, трогательно. Алина рядом с ним разошлась самостоятельно – о, она это всегда умела! Даже Нина подключилась к подмигивающему ритму, покачивалась с улыбкой на месте, не оставляя горшка с цветком. А Игорь – тот вообще изображал что-то особое, лихое, размашистое. Позади танцующих, как тени, появились маленькие черные фигуры, перетянутые поясами, они поддерживали, усиливали, объединяли ритм похлопыванием в ладоши. Ну? – обращались к Зимину взгляды, – а ты почему не присоединяешься? Давай, как все, вот будет и хорошо!..

– Что вы?.. Что вы делаете? – забормотал он оторопело, сознавая, что за нарастающей музыкой его не слышат. Танцующих становилось все больше, но держался каждый сам по себе. – Не надо так... не поддавайтесь. Это имитация... нам навязывают... Я все-таки остаюсь один... все-таки один. Наверное, заслужил, чего-то не сумел. Павлик, ты меня слышишь? Смотри, вот идет наша кошка. Помнишь? Ее звали Мурка, ты любил ее гладить...

– Мурки давным-давно нет, – подала голос Алина, стараясь не упустить ритма. – А ты ее вообще терпеть не мог, она пачкала твои драгоценные бумаги.

– Да, я бывал не прав, – с готовностью подхватил Зимин. – Но потом мне стало ее не хватать. Пусть это другая, главное – настоящая...

Кошка медленно подошла к Алине, прошла прямо сквозь ее ногу, направилась к Зимину.

– Не бери ее в руки, – брезгливо скривилась Алина – а ладонями все отбивала, все отбивала приглашающий ритм: ну, давай же и ты, давай. – У нее могут быть блохи.

Луч осветительного прибора сделал прозрачным не только платье – само тело. Что-то стало происходить со всеми. Чтобы наклониться к кошке, пришлось сделать усилие. Все вокруг накренилось, заколебалось. Не упасть, не утратить равновесие, сказал себе Зимин...

– Черт побери, что здесь творится? – ворвался в музыку раздраженный голос. – Кто сюда допустил эту тварь?

– Это не вы, это были не вы, – бормотал Зимин теперь уже в погасшее, опустевшее, обеззвученное пространство, поднимая к груди горячее тельце. – По-настоящему такое невозможно, я знал. Попытка фантастического разрешения... не моя. Но все-таки я мог вас увидеть, всех, вы все-таки остались со мной, вас у меня уже не отнять...

– Что этот идиот бормочет? – возник опять раздраженный голос. – Не по-настоящему его не устраивает. Как угодно, только взаправду. Пустить насмарку такую работу! Достаточно одного ненормального, чтобы никакая аппаратура не выдержала. Выпустите обоих отсюда к чертовой матери... Эй! Ты меня слышишь? Убирайся со своей кошкой, пока вас не выпихнули.

– Куда? – ошалело переспросил Зимин. Вокруг было погасшее, невнятное, серое пространство. Он стоял с кошкой в руках, слегка пошатываясь, словно вспоминая равновесие вместе с утраченным чувством тяжести.

– К себе, куда же еще?

– Если найдет дорогу, – добавил другой – и оба расхохотались с мстительным удовольствием.

Дохнуло подвальной холодной сыростью, впереди обозначился слабо освещенный проем. Зимин неуверенно направился туда. Плафон лампы был забран решеткой. Он медленно поднялся по бетонной лестнице. Кошка урчала всем телом, засунутая за пазуху.

Ночной воздух был свеж и мягок. На черном небе виднелись звезды. Городские огни светились поодаль, близкое пространство было темно и пустынно. Прожектор на высокой мачте не столько освещал территорию, сколько слепил. Глаза различили сначала что-то вроде строительной временки, бульдозер неподалеку, еще дальше – сплошную ограду, темную на темном. Смутная фигура проявилась из темноты, направилась в его сторону.

– Эй, – окликнул человек, приближаясь, – не скажете, как отсюда выбраться?..

ГЛАВА 7

1

Лицо проявлялось из темноты все четче, я всматривался, уже уверенно узнавая. Да, это был он. Надо же было встретиться в таком месте!

– О, значит вас тоже туда угораздило, – сказал я. – Почему я вас там не видел? Вы где сидели?

Он смотрел на меня странным, непонимающим взглядом. Глаза без зрачков казались остановившимися. На щеке белел след известки – успел где-то испачкаться.

– Представьте, как раз сегодня вас вспоминал, – я оживлялся невольно. – Думал: вдруг хоть на этой тусовке опять увидимся. Тоже ищите выход? Не выдержали этой скучищи? Наобещали с три короба: аттракционы, коктейль, новинки техники, лотерея с невероятными выигрышами. Меня когда-то приглашали даже проучаствовать, подать сценарную заявку, и я, как дурак, клюнул. Ничего похожего, хорошо хоть идею не украли. Заставили зачем-то сидеть в душном зале, слушать этого... ладно, о нем не буду. Может, потом и выдали бы какую-нибудь художественную часть. Но я в такой духоте не мог высидеть. Даже эйр кондишн не смогли обеспечить. И пошли они к черту со своими коктейлями... Вы что на меня так смотрите, как будто не узнаете? Или я тоже перепачкался?

Достал носовой платок из кармана, отер наугад одну щеку, другую. Действительно, остались следы белил. Отер на всякий случай и подбородок, и лоб. Он смотрел на меня, не

отвечая. Только тут я разглядел, что из-за пазухи у него выглядывает голова кошки, он прижимал ее к груди рукой. Улыбка на губах остановившаяся, неполная, как будто застенчивая. Похоже, он сумел все-таки перехватить и тут. Для того, может, только и заявился. До меня уже доходили разговоры, что он теперь все чаще прикладывает к бутылке. И называет это, значит: не в одиночку. Хорошенькое не в одиночку...

– Эти недостроенные новостройки, – сказал я. – Не дают даже просохнуть краске. И о табличках не позаботились, никто не показал, где нормальный выход. Дал же себе зарок: не поддаваться на рекламные обещания. Испортили мне такой день, – добавил я. – У меня ведь сегодня такой день, – подкрепил я намек уже с нажимом.

Он не среагировал, смотрел на меня по-прежнему тупо...

2

Раздражен я был не только тем, что вместо обещанных аттракционов попал на занудливую конференцию. Кого-то, может, приглашали приватно в другие залы или кабинеты, но для таких, как мы – конференция. Хорошо, что я пришел с опозданием, пристроился в заднем ряду у выхода. С экрана теоретизировало укрупненное изображение – невелико удовольствие было вдобавок увидеть малосимпатичного мне лысого типа. Где он затаился сам, обнаружить издалека не удалось. Может, его и не было.

Виртуальное расширение возможностей, – не сразу начал прислушиваться я... Выход за пределы литературы... Некоторые считают достоинством литературы ее так называемую открытость. Любая заданная программа, говорят нам, в принципе ограничена. Литература предлагает каждому дорисовывать в уме что-то свое, особое, автором не предусмотренное. Парадоксы для высоколобых, – усмехался лысый. Люди ищут другого...

Затылки слушателей впереди были неподвижны – воплощение внимания. В подлокотник кресла был вделан пульт, но

переключить программу не удавалось. Я заново сосредоточился лишь в момент, когда слышались слова о фабрике собеседников.

– Нам почему-то недостаточно реально живущих, – с той же своей двусмысленной усмешкой теоретизировал лысый. – Казалось бы, вот они, вокруг, их миллионы. Но с ними технически трудней, не всегда получается. Человеку всегда надо было создавать для себя кого-то. В раннем возрасте он делает себе куклу из тряпок, деревяшки, чего угодно, одухотворяет ее, наделяет именем, характером. Став постарше, создает идола. Исторически, впрочем, это то же детское достижение. Повзрослев еще больше, можно этого другого сделать невидимым, поместить на небеса – лишь бы с кем-то общаться, вести беседу, не оставаться совсем уж наедине с собой. Творцу, как утверждают некоторые, стало одному просто скучно, захотелось создать кого-то еще...

Где-то в этом месте я не выдержал духоты, слушать дальше все эти философствования не хотелось. Мне в спину неслись слова о двойниках литературных. Известный, опробованный способ обеспечить себе надежное алиби на всякий сомнительный случай: подставить вместо себя двойника. Криминалист-аналитик поневоле кинется обнюхивать след: есть ли в персонаже что-то от автора? Как ни старайся сделать его на себя не похожим – улики найдутся... В голосе звучало чуть ли не злорадное торжество. Как будто он как раз и был тем самым всезнающим детективом, готовым поймать хитреца.

3

Ночной воздух после духоты освежал. Мы пробирались вдоль бетонной ограды, искали выход почти на ощупь. После дождя глину под ногами развезло – угораздило же попасть на строительную территорию, да еще затемно! Едва разровненная поверхность была уже местами замусорена, подозрительный запах заставлял опасаться, не вляпаешься ли во что похуже. Три темных провода проявились на фоне неба, пара звезд

уселась на них, как на неполной нотной линейке. Где-то поблизости залаяла собака, сперва на пробу, раз, другой, потом разошлась залиvisto. Ее нам только сейчас не хватало.

К счастью, вовремя обнаружилась щель. Она была узковата, но протиснуться удалось обоим. Посмотрели друг на друга, оба одинаково хмыкнули. Вид у нас был тот еще! Выбрались из ловушки. Очистили от глины подошвы, как могли, отряхнулись, отряхнули друг друга, пошли вместе к подземному переходу неподалеку. Мой спутник, похоже, немного оттаял после совместных странствий, кошка дремала у него за пазухой. Нам было еще по пути.

– Слушайте, – сказал я, когда мы поднялись наверх, – вот тут впереди я вижу кафе. Посидите со мной немного, а? Выпить хочется. О деньгах не беспокойтесь, – я заметил невольное, проверяющее движение его руки к карману, – у меня сегодня есть. Главное, не хочется, чтобы так под конец испортили день. У меня ведь знаете какой сегодня день? – (Все-таки не удержался). – Я закончил одну работу. Дописал сочинение.

– О, – произнес он и сделал жест рукой, выразивший молчаливое поздравление; другая рука придерживала кошку. К разговору был явно не расположен. Но я остановиться уже не мог.

– Конечно, завтра-послезавтра выяснится, что ставить точку рано, вы это по себе знаете. Что-то надо будет еще доделывать, додумывать. Я уже и сейчас чувствую. Особенно не уверен в финале. Но сегодня, пока не опомнися, выпьем все равно, а? Столько хочется обсудить, не с собой же? Помните, как вы однажды выразились? Наговоришься за день с умным человеком. Сейчас редко с кем можно поговорить о литературе, а ведь разве есть что-нибудь интереснее?..

Меня подмывало ему сказать, что после того нашего случайного разговора я продолжал о нем размышлять, и столько пришло на ум! Разве так мало это значит: обнаружить, что кто-то другой думает о том же, что ты?

Он не отвечал, мне это было не обязательно. В таком вздернутом состоянии чужое молчание вдохновляет. Мы продолжали идти рядом... Что же все-таки сделать с финалом? –

заново крутилось в уме. Хотелось завершить как-то ободряюще, намекнуть на возможное разрешение, читателю же это нужно. Хотя бы воображаемое, фантастическое. Нет, герой воспротивился, заставил себе самому показать язык...

Мы подходили к открытому кафе. Несмотря на поздний час, под зонтиками сидело еще много людей – день перед выходными. Молодые, прилично одетые парочки, целые компании. Но в дальнем углу сидели двое, внешний вид которых был немногим лучше нашего. Демократичное кафе.

– Ну, – повторил я просительно, – хоть по маленькой тяпнем? Надо же придти в себя после такого? А?

Он помотал опущенной головой. Поздно уже, без труда растолковывалось это движение. Спать хочется. С утра опять работать...

– Ну, желаю успехов, – сказал я с сожалением.

Он уходил от меня прочь, тощий – на расстоянии стало заметно, как похудел со времени нашего первого знакомства. Фара встречного автомобиля обволокла его ярким светом – фигура, казалось, просвечивала, готова была растаять.

Ну и ладно, – не стал я давать волю уязвленным чувствам. Не хочет со мной говорить – ничего не поделаешь. Уходит, удаляется еще один, закрытый наглухо. И не проникнуть, не узнать, что он за человек, о чем думал, пока ты перед ним распинаяся. Створки замкнуты. Как у всех этих прохожих вокруг...

По асфальту несло пустой полиэтиленовый пакет. Где-то я сегодня его уже видел, совсем недавно. Живучий, снова поймал дуновение. Впрочем, мало ли их, таких? Урны обожрались, переполненные. Сколько же всякой всячины успевают накопиться за день на единственной улице! Обрывки, целые страницы газет с уже отмененными новостями, пакеты из-под отправленных в желудки орешков, пустые бутылки из-под выпитых жидкостей, промасленные бумажки от пирожков, пластиковые сумки с названиями компаний, презерватив, использованный и выброшенный – не дал зародиться лишней, ненужной жизни. К утру всю эту гадость выметут, очистят место для нового мусора.

Выпить бы все-таки с кем-нибудь, озирался я. Выставить хоть первому встречному, чокнуться. Пока еще кажется, что есть за что.

Луна вышла из-за облаков, окруженная радужным ореолом. Только что за глухим забором удалось увидеть даже звезды. Городские огни мешают их тут разглядеть. Но уже знаешь, что они сейчас есть, можешь сказать, что их видел. Тоже кое-что. Хорошо. Неизвестно, что будет завтра, но пока хорошо, честное слово.

2002